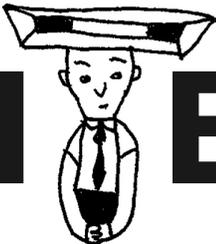


Союз писателей Москвы

ЛИ  ЕРЫ

Москва

«Воймега»

2011

УДК 821.161.1—1
ББК 84(2Рос=Рус)6—5
Л64

Составители:
Виктория Лебедева, Элина Сухова

Рисунки Ольги Золотухиной

Литеры.

Л64 Проза. Поэзия. Драма. / Сост. В. Лебедева, Э. Сухова;
Союз писателей Москвы. — М.: «Воймега», 2011. — 288 с.

Сборник выпущен к десятилетию Советаний молодых писателей СПМ и посвящен памяти Риммы Казаковой, которая была бессменным организатором и руководителем этих мероприятий. В книгу вошли рассказы, миниатюры, стихи и короткие пьесы участников семинаров прозы, поэзии, драмы и кинодрамы. Большинство из них за прошедшие годы состоялись как писатели и приобрели известность в литературных кругах.

ISBN 5-7640-0113-7

© авторы материалов, 2011
© Союз писателей Москвы, 2011
© О. Золотухина, рисунки, 2009
© «Воймега», Москва, 2011

п оза

Ирина Богатырева
Константин Ларченко
Сергей Алхутов
Марта Кетро
Михаил Земсков
Татьяна Замировская
Петр Ореховский
Улья Нова
Александр Снегирев
Виктория Лебедева
Вячеслав Харченко

Новая литература

Четверть века назад, когда начальство объявило перестройку, будущее воспринималось одними нашими согражданами с крайним энтузиазмом: дикая тоталитарная страна возвращается в семью цивилизованных народов, сытые, кормленные граждане денно и нощно соблюдают закон, в государстве цветущей Демократии тишь да благодать, с проклятым прошлым покончено навсегда. Мы не хуже Запада, а может, даже и лучше.

Другие наши земляки со скрежетом зубовным предрекали огромной стране лютую погибель от наступившей «смены вех», пауперизацию, полную утрату ею фирменной российской Духовности, разрушение вообще ВСЕГО, включая лицо, одежду, душу и мысли.

Жизнь, как всегда, оказалась богаче любых умозрительных мнений о ней. СССР развалился, Россия пережила два путча, дефолт-98, миллениум и кризис. Все мы живем в таинственной и мутной новой реальности. Социализм кончился окончательно, но счастья по-прежнему нет.

На первый взгляд кончилась и литература. Тиражи умных и хороших изданий от миллионных скукожились до штучных, писатели обнищали, издательства заелись, толстые литературные журналы притихли. Попса и халтура цветут богатым цветом пузырей земли.

Однако русская литература еще более непредсказуема, чем описываемая ею страна. Худо — худо, но — Слава Богу: этот шуточный девиз фронтовиков по-прежнему актуален сейчас, равно как и сентенция Ахматовой про стихи, которые, не ведая стыда, растут из сора. Новая литература растет из сора и железобетонных обломков тоталитаризма, на развалинах бывшей Империи, где за эти годы уже накопился кое-какой плодородный слой, необходимый для литературы, а взбаламученное море постепенно обретает иные берега.

Русская литература переболела за эти годы всеми детскими болезнями левизны, правизны, отрицаловки, безнаказанности, эйфории, тотальной иронии, чернухи без берегов и вновь обретает свою подлинную сущность, когда писатель пишет не только для себя или интеллектуальной тусовки, а все-таки для НАРОДА, нравится это кому или нет.

Прозаики, тексты которых вы прочтете, пишут для народа и о народе.

Каждый из них обладает собственным неповторимым голосом, а это, на мой взгляд, самое важное в нашем писательском деле.

У каждого из них есть не только прошлое-настоящее, но и будущее. Лично я в этом совершенно уверен, хотя мало в чем уверен вообще.

Евгений ПОПОВ

Дорога, которую предстоит одолеть

Не скажу, что все публикующееся в разделе «Проза» мне нравится. Что-то я принимаю, что-то наоборот, что-то кажется мне сильным, что-то слабым.

Но я вспоминаю себя молодого. Что-то из написанного мной «старшие товарищи» встречали аплодисментами, что-то с осуждающим видом — в общем, что-то им нравилось, что-то отнюдь нет.

Естественное ведь дело. Вот кому-то подавай только «Мерседес», кто-то всем прочим предпочитает «Форд», а третьего, кроме «Кадиллака», не устраивает ничего, все остальные марки для него — не машины.

Так что дело не в «нравится — не нравится». Дело в состоятельности. Есть у пишущего человека своя аудитория, есть читатель, который набрасывается на его очередной текст, как голодный на хлеб, есть почитатели и поклонники — значит, пишущий человек состоялся как писатель. Быть писателем «для всех» невозможно, «писатель для всех» — это классик. Сколько мы насчитаем в русской литературе XIX века классиков? Всего девять имен. А в литературе XX? Но и Льва Толстого, как известно, не все способны оценить. Длинно, занудливо, громоздко... И оттого что мы их пожалеем — бедные, какой радости себя лишают, не читая! — ничего не изменится: вот глухи, и все.

У писателей, что публикуются здесь, — у каждого, — есть свои почитатели и поклонники, а значит, они состоялись. Значит, они писатели. И имеют полное право появиться на страницах этого сборника. У каждого из них своя творческая и издательская судьба. Кто-то уже имеет книги, награжден литературными премиями, кто-то лишь начинает печататься. Но по сути все они начинают свой творческий путь, у каждого впереди дорога, которую предстоит одолеть, и можно лишь высказать желание: пройти ее (а ровной литературная дорога не бывает) с достоинством и честью, не утратив молодого азарта и сохранив в душе тот идеал пути, с которым каждый молодой писатель в этот путь пускается.

Анатолий КУРЧАТКИН

Ирина Богатырева

Подводные лодки

Село называлось Большое Мокрое, а почему — совершенно неясно: стояло оно на холмах, и если была там вода, так только ключи, что у подножья этих самых холмов, а потому ходить полоскать белье или за водою надо далеко от дома, по крутой горке — вниз.

Но ключи — это же совсем другое, были б Ключищи, а Мокрое отчего — неясно. Была, конечно, в селе грязь, но все больше потому, что улица немощеная, даже гравием-песком колеи не засыпаны, а жители имели обыкновение выносить на дорогу, в эти самые колеи, все свои жидкие отходы-помои — вот оттого и грязь. Странные обычаи там, и люди тоже странные: днем ни одной души не увидишь на улице, идешь меж домов — как будто вымерли все, и только занавесочки в окнах колышутся: это бабки глазастые наружу выглядывают, смотрят, кто идет по улице. Пока не видишь их — смотрят, а как заметишь — сразу прячутся, будто нет их. А зачем?

Моя бабушка тоже любительница в окно смотреть: кто куда пошел, хоть бы даже соседка в магазин, чья машина куда поехала. Тем она и занята, когда дома, когда на огороде не копается. А я не люблю ни в окна смотреть, ни в огороде копать, я все больше на улице, одна или со всякими местными собаками-кошками слоняюсь, всех их в лицо и по кличкам знаю, всех куриц помню — какая с чьего двора, за стадом по вечерам на выпас — здесь говорят *на валдаи* — иду, всех овец-манек, козкатек да коров по характеру знаю. Заранее иду, задолго до их возвращения: пока дойду через всю деревню, потом сажу над речкой на холмике, там далеко все видно — лесок, луг, поросший фиолетово-красными свечками иван-чая, бревенчатые срубы над ключами, ровная русская даль. Она захватывает меня спокойствием и тишиною, эта даль, в которой я никогда не побываю — которая и не тянет меня там побывать, а прекрасна именно так, как даль.

Все детство, каждое лето — молчаливое одиночество. Все люди вокруг меня — бабушка да дядя, что чаще других, городских родственни-

ков ездит в деревню. С деревенскими я не общаюсь. Они другие совсем, не как в городе, даже говорят не так — через «о», округло очень, и слова бывают непонятные, каких в городе не услышишь. Я не понимаю, о чем они думают, и сторонюсь их. Даже детей. Да и бабушка стращает: «Ты с такими-то не водись, у них и мать, и отец — алкоголики. И с этими не говори — ворюги они, старший сын уже сел, остальные подтянутся». Я и не вожусь, даже не хочется: смутны эти грубые, странные люди, неясны мне их поступки и помыслы. Скотина и то яснее и ближе, она — своя, тем более что в городе столько зверей нет.

Бабушку не смущает мое одиночество: прихожу домой вовремя, ем отлично — много ли от городской внучки надо? Ни полоть, ни поливать меня не заставляет, а что не сможет в доме — дядя в выходные придет, поможет.

Мой дядя — тоже загадочный человек: гигант и молчун, тихоня и работяга. Он все время чем-то занят, но я ничего не понимаю из того, что он делает. А с бабушкой они ничего не обсуждают: изредка только обронят по фразе, и поди догадайся, что бы это значило — а дядя уже уходит куда-то с молотком, или пилить-строгать что-то на дворе, или же едет куда-то, а возвращается с мешком комбикорма.

Дядя и бабушка существуют в другом мире, где все события настолько обыденны, что и обсуждать их, советоваться друг с другом не стоит. Они никогда не спросят: *ты куда* или *зачем*, но всегда друг друга понимают. А мне и любопытно узнать, что же вокруг меня происходит, и стыдно, что я таких простых вещей не знаю. Потому молчу, только гляжу, как достает дядя и складывает на диване патроны, длинную куртку-болонью, фланелевую рубашку, шерстяные носки, сумку и ружье. А потом ухожу к своим кошкам.

Одна из них недавно родила котят на чердаке. Я единственная в доме, кто заметил это. Ждала несколько дней терпеливо, следила за кошкой, как она, наскоро поев, шмыгает в сени. Но вот прошла неделя, а значит уже можно подняться наверх, проползти под низкими, тяжелыми бревнами-стропилами, страшно ощерившимися огромными ржаво-острыми гвоздями, найти кошачье гнездо и рассмотреть их в умилении: слепых, слабых, с хвостиками-палочками, лапками-раскоряками, теплыми усатыми мордочками. Какие они родились окраской, сколько их, быстро ли подрастают.

Но на чердаке — пыльно, душно и пахнет луковой шелухой, сумрачно, потому что окошко слуховое, маленькое, свет из него косой, только пыль подсвечивает. На шатком полу лежат газеты и красные луковые шкурки, и ступать надо сторожко, иначе котят не дозовешься —

поймут, что не мамка идет, и молчок. А где они тут гнездятся? Неизвестно. Кошка пока прячет и бережет их: и от котов — найдут так съедят, — и от бабушки. Это потом, когда окрепнут и глазки откроют, по одному спустит их кошка всех с чердака, принесет в дом, оставит на коврике — смотрите, что у меня есть, любуйтесь, какие!

А сейчас только ей они и нужны — ей и мне. Я зову их так, как зовет мать-кошка, приходя — я научилась этому хорошо, они поверят. На третий раз — есть ответ: в дальнем углу писк и шебуршение. Теперь важно долезть туда, как можно тише ступая.

Крадусь и вдруг слышу: в дом звонят. Дядя идет, открывает дверь на крыльцо. Говорит с каким-то мужиком, и мне слышно каждое слово.

— Сань, здорово, — сипло произносит мужик. — Курицу нады-сь? На бутылку, а?

— А чо ж так?

— Последняя. На той неделе батя всех курей выменял. Возьми, мы челюшей на следующее лето брать будем, а этой все одно не жить — или батя сменяет, или съедим. За то что одна кура-т — не хлеб. Ну давай, бутылка?

— Нету у нас.

— А чо дак? Тетя Нина всегда бутылку имеет.

— Да нет пока. Не гнали.

Мне уже ясен это мужик и противен — как противны и страшны другие мужики и тетки, что в любое время суток, иногда по ночам, стучат к нам в дверь или в окно, зовут бабушку певуче и странно — *Ондревна!* — и требуют самогонки. Она продает им иногда — а иногда нет, хоть бы даже огромная бутыл в ее комнате стояла полной, и мне никогда не понять ее выбора. Потому что для меня все эти люди — чужие и опасные. Особенно когда стучат в окно ночью, а мы с бабушкой в доме одни, и кричат пьяными голосами, если не открывает.

А этот, что стоит сейчас на нашем крыльце и держит рябую курицу, кроткую и молчаливую, под мышкой, вдруг говорит моему дяде:

— А ты что, Сань, на болото никак собрался?

— Проведаю, — слышен ответ. Мой дядя говорит мягко, неспешно, и окает красиво.

— А собака тебе не нужна? Возьми, хорошая собака, она на утку натаскана. Или сам, что ли, таскать себе будешь?

— Не надо мне, — отвечает дядя. — Я и недолго сегодня, только гляну, что там в этом году, да назад...

— Мужики уже стреляли, есть, говорят, утка-т... А чо, Саня, с тобой, что ли, мне скататься? Пристреляемся.

— Давай, — равнодушно отвечает дядя.

Я сижу не дышу, все слышу — вдруг по сеням шаги, по лестнице чердачной — скрип; поднимается мой дядя — и к сундуку, достает оттуда громадные зеленые бродни. И тут все вещи, что внизу видела, разговор этот и дядино особое какое-то настроение связываются в одно у меня — и начинаю проситься на охоту.

Он вздрагивает — не видел меня, не заметил, — потом смотрит долго и выдает, как умеет, рассудительно и без спешки, а главное, совсем без усмешки, будто на полном серьезе все:

— Что же это вы, гражданка, так поздно опомнились?

Я дуюсь: потому что не люблю *гражданки* и потому что он сам-то ничего не сказал.

— А вы прям сейчас едете?

— Прямо сейчас. А вас еще одеть бы следовало.

— А я так поеду! Ну возьмите! Я бабушкин плащ надену!

Плащ у бабушки — бледно-розовый, старьёй, в нем она ходит топить баню в огороде, а я — когда иду ночью в туалет, здесь говорят — *на двор*.

— А сапоги у тебя есть? Мокро там.

Сапог нет. Сапоги малы с прошлого лета. Дядя думает медленно, и чем дольше он думает, тем большую я чувствую вину, что обуви у меня нет.

— На-ко, примерь, — говорит дядя и дает бродни.

— Так надень, — говорит, и я ныряю в них прямо в кроссовках. Мне двенадцать; бродни сорок шестого размера.

— Держать будешь, — смеется дядя. — Ну идем.

Спускаться в таком виде по лестнице и неудобно, и страшно, но я иду, я молчу, натягиваю в сенях плащ и ныряю в машину — а то как выйдет с огорода бабушка, как выйдет да как скажет грозно: «Ты шо шоболот надела? Никуда не поедешь: ишь, с мужиками на болото!» Моя бабушка окает сильно, почти как в анекдоте про Горького и летающих коров.

В машине впереди уже сидит тот мужик. От него запах по салону острый, чужой и противный. Я на него пытаюсь не смотреть — какой-то он черный весь, не то грязный, не то в пальто. А он, увидав меня, смеется.

— А чо, она тебе таскать поноску-то будет? — и захихикал хрипло.

— А и принесет, — спокойно кивнул дядя, и мне неприятно. Но я молчу, я креплюсь, я все стерплю: и мужика, и его запах, и шутки эти, потому что на охоте не была ни разу, но всегда хотела.

Машинка-старушечка, ярко-красный «Москвичок», переваливаясь, выезжает со двора и покатила под горку, с холмика, мимо ключа, магазина, пожарки, школы, клуба — на пыльную, позабытую дорогу под железной аркой-надписью «ХОЗ КРАСН», а другие буквы отбиты, да и вся арка поржавела давно.

— А ты чья будешь? — оборачивается вдруг ко мне мужик, и я вжимаюсь в сиденье.

— Сестры моей дочь, — отвечает дядя.

— Да ты что?! Ленкина, что ль? А я с мамкой твоей в одном классе учился, в мокринской школе. Слышь?

Я слышу, я вижу, запах его чую — и не верю ни слову: с чего бы он с мамой вместе учился, с моей мамой — он? Такие вообще не учатся, растут как трава и гибнут не пойми отчего — *перепив, помер*, говорят. Я не понимаю, почему с ними так, отчего так живут, зачем. С людьми вообще многое непонятно, не то что с животными, но такие вещи непонятны вдвойне.

Я хочу, чтобы он обо мне позабыл, чтоб обернулся и смотрел на дорогу, на пегие августовские поля под чахлой травой или вон на те сломанные сараи, тут колхоз, говорят, был когда-то, вон даже комбайн рыжий, грустный, стоит поодаль, ржавеет, и еще какая-то машина за ним... Вот пусть бы и паялился на все это, а то уставился на меня, как кот. Противно.

— Не узнал бы, не Ленкина ты как будто. На отца похожа, что ль? А живете вы где? В Нижнем?

— Нет, они далеко, — отвечает дядя.

— На лето сюда везут?

— Да.

Мне уже не страшно, а только неприятно: ну с чего ему все рассказывать, вот еще! Отворачиваюсь и заставляю себя думать только про уток, или котят, или других простых и добрых тварей.

А дорога все тянется и тянется, не была я здесь никогда. Поля заброшенные и все как будто под горку, и смеркается уже вроде, и туманом вдруг потянуло. Еле видно — вон ветлы шариками, там, верно, речка здешняя, Кудьма. Но мы едем дальше. Туман густеет.

— Ты слышь, мелкая, на болоте сейчас не кричи и не шуми, по́няла? От нас с дядькой не отставай, в оба смотри. Или вообще в машине сиди, неча тебе.

— Ну-у! — выдавливаю возмущенно, но тут машина подмяла под себя хрусткий тростник — и остановились.

— Ну, тихо теперь, — говорит опять мужик и вылезает. Я вылезаю тоже, вдыхаю холодный туман, ежусь и подхватываю бродни.

«Идем!» — машет рукой чужой дядька и двигает вперед уверенной и даже легкой походкой, за ним мой дядя с ружьем, а потом я. Перед нами — стеной камыши, все выше меня, с лопнувшими свечками. Они тонут в тумане, и я понимаю: перед нами — безграничное море камышей, болотистых пустошей, луж и озерков с чистой водой. Здесь обязательно должны жить утки.

Но тихо, не слышно ни крыльев, ни крика. Чужой дядька удрал далеко, мой еще как-то виден в тумане, и я спешу, чтоб не отстать, с трудом перекидываю негнувшиеся в сапогах ноги. Вдруг понимаю, что дядьки остановились, и замираю тоже.

Чужой курит: ядовито-красная точка светится из тумана.

— Всегда тут были. Как пить дать — верное место. Чаглавские, поди, уже побывали, спугнули, — говорит глухо. Я отдуваюсь, пытаюсь подвязать полы плаща. — Слышь, мелкая, ты не топай тут, а то в машину сядешь. Утка не дура, она тебя за километр услышит.

Я дуюсь, но молчу: хоть он и чужой, а вдруг мой дядя его послушает и правда отправит в машину? И дядя — точно! — смотрит на меня как-то странно, и мне страшно становится, опережаю, пока ничего не сказал:

— Не-е, дядь Саш, я не хочу, я с вами, я заблудиться боюсь!

— Вот заурсила, — грубо, непонятно и от того жутко процедил чужой. — Мамка, знать, тебя мало по жопе порола. — И сплюнул сквозь зубы.

Я совсем уже почти в рев, но мой дядя добрый, он говорит:

— Тихо. Смотри: если заплутаешь — вон, наверху огоньки, видишь?

Поднимаю глаза — в тумане что-то слабо мерцает красным, высоко и неясно.

— Это на вышках. Ты к ним спиной повернись и иди. Машина наша там (махнул). Как выйдешь из камышей, зови, услышим.

Я успокаиваюсь, киваю.

— А что это за огни?

— На радиовышках.

— Тут радио передают?

— Передают, тока не наше, — буркнул чужой.

— Это не обычное радио, здесь частота, на которой подводные лодки переговариваются, — говорит мой дядя, и я не понимаю, кто из них надо мною глумится.

— В смысле? Какие лодки?

— Ты чо, не слышишь? Подводные, — говорит чужой, а мой кивает.

— А где они? Здесь? — говорю и пытаюсь представить, как поместится огромная, как кит, лодка в Кудьму, если даже я ее переплыть могу, а посредине если встану — почти до дна достаю.

— Нет, конечно, — говорит мой, а чужой загыкал сквозь дым. — Они далеко, в Ледовитом океане.

— Да вы что? — поражаюсь и пытаюсь представить, где мы и где океан; получается, что это ого как далеко — много-много земли отсюда до его воды. — А почему же лодки тут переговариваются? И что, их слышно?

— Они там переговариваются и там их слышно, — говорит мой дядя. — А тут только вышки стоят, через которые они связь держат.

— Но почему здесь? Почему не там — на берегу океана?

— А потому что место здесь такое особое — совсем гладкое. Среднерусская равнина.

— А почему... — хочу еще спросить, но чужой дядька цыкает, щелчком отправляет свою красную точку в камыши и стремительно, тихо скользит вновь меж стеблей по ему одному ведомым тропам. Я раздвигаю камыши в том месте, где мужики только что стояли — небольшая проплешина чистой, темной воды, и туман белыми струйками поднимается над ее спокойной поверхностью, закручиваясь, словно дымок от небольшого огня.

В следующий раз настигаю их на открытом, топком берегу: озеро так же пусто и тихо, только черные водомерки скользят.

— Где-то же она сидит, утко-т, — говорит чужой, — не совсем же слетела. Сезон только на́чался, не может в начале самом сезона слететь.

— Да ладно, Паш, темнеет уже, не видно будет. Мы только приглядимся, а по-нормальному-то засветло надо.

— Ты чо, утку с курей попутал, утка ж на насест не сядет, она все одно где-то тут плавает.

И тут туман разрезало — *свить, свить, свить*, и какое-то *крыа*, как будто ржавые качели, — и прямо из сумерек у нас над головами проскользили три утки, маша острыми треугольными крыльями, будто под себя подгребая.

— Пали! — заорал дядька как дурной, но мой только успел вскинуть ружье — искры и грохот обрушились в пустоту.

— Мать твою в пень! Тррра-та-та-та! — разразился чужой дядька бранью, но я не слышу, у меня наглухо заложило уши, стою, обалдело глядя наверх, где только что скользили по воздуху утки. Хлопаю ладонями по ушам — вроде отпустило.

— Быстрее двигай, успеть еще можем! — Дядька кидается вперед почти бегом, мой за ним, а я еле поспеваю, сапоги свои огромные, жутко неудобные на ходу ловлю, сама их грохоту ужасаюсь.

Начинается беготня и кружение: чужой дядька то появляется откуда-то сбоку, проносится мимо с ругательствами и бежит вперед, то разворачивается и ныряет в камыши, то где-то слышен один лишь его голос, а мой дядя ему отвечает неизвестно откуда. Я мечусь, теряюсь и уже не понимаю — кто, где, что... Через какое-то время мне кажется, что я совсем одна, потерялась, и уже слезы готовы из глаз, пытаюсь посмотреть куда-то выше, над камышами — вижу сразу две ядовито-красные точки, высоко и далеко, сквозь возникшую уже ночь. Онемев, смотрю на них, делаю пару шагов в камыши и чувствую, как вошли в воду мои бродни.

Я у озера, черного, большого, и по озеру, у дальнего берега, плавают, заплывая за стебли, темные поплавки. Утки, понимаю, хотя вижу их плохо. Слышу только тихое побрякивание, плеск слабой волной; одна за одной, не спеша скрываются они в камышах все. И в гладкой воде отражаются красные огоньки с вышек.

Океан — он же где! — безграничная даль между нами. Он холодный и белый, он ледовитый. И в нем — медведи. И редкие лодки. Они говорят друг другу: «Первый-первый, как слышите, первый? Всплывайте: сияние вместе посмотрим». — «Вас понял. Всплываю». И поднимаются вместе, вода стекает с их черных гладких боков, и болтаются, как поплавки, как утки на черной воде, а на больших белых льдинах сидят рядом медведи и тюлени и тоже смотрят все вместе в ночное, звездное небо, как там рождается холодная северная радуга, красиво и жутко...

Я бреду сквозь камыши, оставляя огни вышки за спиной. И скоро начинаю различать голоса и свет, выхожу — точно: это дядя включил фары; они сидят с чужим дядькой рядом с машиной, перед ними — газета, буханка ржаного и бутылка с полупрозрачной жидкостью, какая у бабушки в огромной бутылки налита.

— Инженера, мать их в пень, — говорит чужой дядька мрачно да с такой злобой, что я замираю. — Умотала! И что получила-т? Ведь эта — какая-то вся суглобая, смотрит, как баран, наостробучившись. А Ленка-т была огонь-девка! И плясать, и хохотунья! А упертая бывало: мы с ней раз разлаялись, мимо клуба шли, там крапива росла до хера, я ее взял — и как была в своей юбочке — в крапиву задницей и посади. И нича, хоть бы хныкнуть — ни-и. Поднялась и пошла. А, ты ее и не помнишь, поди, такой, малец еще был, Санька.

— Нет, отчего ж, помню, — спокойно отвечает дядя, как будто речь о чем-то обыденном. А я напряглась вся, стою и не дышу почти: ведь это он о моей маме, он, этот страшный чужой дядька, говорит.

— Я ей тогда: не езжай, говорю, никуда, давай за меня, чем-от плохо? А она: я учиться хочу, я в деревне жить не хочу. Да я б для нее убил, украл, все одно — в город бы ее увез, дай только срок! А она одно: учиться, говорит, хочу, вот уперлась! Ну и езжай, говорю, одно ж — вернешься, прибежишь! И нет ее, а за кем там теперь? За хмырем очкастым каким, поди, инженерá все, мать их!

Он налил в белый стаканчик, опрокинул махом в открытую пасть и нюхнул корку. Потом сказал, сморщившись, на дядю не глядя:

— Чо ж, Санька, вот так она, жизнь, разбирает: кому колдырить, кому так мыкаться. А все ж одно.

— Одно, Паш, — говорит дядя. Мужик хлопает еще стопку и тут, крутя от вина башкой, видит меня, стоящую поодаль, в темноте.

— О, смотри, Сань! О! — и больше уже ничего не может сказать.

Когда ехали назад, дядька этот лежал всю дорогу на заднем и ныл, что-то еще про мою мать вспоминая. И только когда въезжали в деревню, уже ехали мимо клуба и школы, он вдруг сел прямо и запел громко на мотив советского гимна:

Подво-одная ло-одка
В степя-ах Забайка-алья
Поги-ибла в нера-авном
Возду-ушном бою...

Но я уже его не боялась.

Константин Ларченко

Хоттабкины сказки

Чужая земля

Что тут сказать? Много у нас красоты. А иногда кажется, что красота только и есть. За такую красоту и пострадать не грех. Вот хотя бы взять нашу Дегтярку. Казалось бы! А какая весна? Заберешься, бывало, на холм, и такая красота открывается, что диву даешься, как она может вместиться вся в одну душу, в одного человека. Никак невозможно! Славно, славно устроена наша Дегтярка. Под самой горой — домики с садами и амбарами, где тебе и сеновал, и мастерская, и погреб, и всякая живность в клетях. Куры кричат, козы блеют, сиротливо басят коровы. За садами дорога асфальтной чертой, а за ней улица имени Коммунаров, с универсамом, где работает Брянцева Люба и куда стекается добрая половина Дегтярки: мужчины — выражать почтение, жены и матери — проследить, как бы это почтение не вылезло боком. Вдоль дороги выгоревшие от солнца и ветра дощатые бараки, обсаженные яблонями и тополями. В окне обязателен черный кот, и всегда навстречу, куда бы ты ни пошел, тебе встретится тетка Перегидроль с говорящей козой да вездесущие дети. Вот дядя Степан кричит из окна, там Эфиоповна вешает мокрую простыню, Семен Затулин с друзьями трещит мотоциклом. На пустыре, возле школы с колоннами, провода в армию. Дальше «суцгород» (так на Дегтярке называется центр), утопающий в зелени, дом культуры и мозаика с Лениным, который улыбается без всякой издевки. За хрущевками терриконы, между ними красная почва, зеленые болотца и рудообогатительный комбинат. Свистит маневровый тепловоз с неизменным Федотычем в рубке, перестук вагонеток, матуется мегафон на столбе и оборачиваются маховики, швыряя отработанный шлак на терриконы. А дальше леса и леса, да карьеры с красной водой, да Сибирь, а за нею Россия. И не хватит глаз, чтобы охватить все просто-

ры, и не хватит памяти — чтоб сохранить, ни сердца — чтоб полюбить. Дух захватывает, да так и хочется полететь — над садами, оврагами, терриконом, суцгородом, собаками и свинофермой, устроенной при гаражах, где с удовольствием видят сны сытые свиньи, спросонья жуя мокрую землю, иль картонку, или там чего Бог пошлет. Так и подмывает взлететь, как Юрок, которому детвора помогает тащить на скалу дельтаплан. А по Чапаева бежит мать со скалкой, грозя и крича непутевому сыну: «Своими руками убью! Только разбейся!» Детвора кричит что-то в ответ. Юрок разбегается, и уходит земля из-под ног, и, поймав над красным прудом восходящий поток, поднимается выше и выше. А мы все кричим ему эхом: «Га-гарин». А он уже обернулся в черную точку, словно в застывшую в парении птицу. В ворону. Их из ельника поднимается целая стая и растянувшимся клином кружит над трубой обогатительного комбината. Крича, как орда, миллионами «карр». И вдруг этому «кару» будто вторит жалобный стон. Словно сама земля застонала у нас под ногами, словно застонали натруженные недра Дегтярки, изрытые нами за семьдесят лет горнодобычи. Встал комбинат. Не идет больше сизый дым из трубы. Застыл на краю экскаватор, да так и повис над пропастью.

— Кончилась медь! Кончилась медь! — бежит по Чапаева дочка Федотыча и тонюсеньким голоском разносит небывалую новость.

— Как это так, чтобы кончилась? Не бывает такого, чтобы земля перестала бы медь нам давать, — шепчутся рудодобытчики в управлении. Вся Дегтярка уж тут. Стоит молча, глядит недоверчиво, ждет. Молчит и начальство, трибуна пуста. Выходит директор. Пьет желтую воду, забытую в графине с прошлого кворума.

— Трудные времена наступают. Печальные времена. Обманула нас наша земля. Ушла медная жила.

— Как это ушла? Всю жизнь была, а тут ушла? — кричат те, кто бойчей. — Так поищите, на то вы и начальство!

— Пять лет мы искали. Да не сумели найти. Ушла жила. Комбинат закрывается. Управление расформировано. Простите... — и старик директор заплакал.

— Это что же будет? Конец нашей Дегтярке? А нас куда? Не согласны! Так не бывает! Всю жизнь мы только медь и обогащали! — гудела толпа.

— Братья! — закричал тут Белобрысов, бывший парторг комбината, и стянул с лысины кепи. — На поклон идти надо, к Хозяйке Медной Горы! К земле-матушке на поклон! Испросим прощения, братцы!

Может, простит?! Может, смилостивится над грешными нами? Может, вернет нам медь? Шапки долой!

Тут прибегает белобрысовский мальчонка с иконой. Бывший парторг воздевает икону над лысиной и, округлив до стеклянности глазки, идет сквозь толпу. А за ним вся Дегтярка. Меж терриконов, по купоросным болотцам, к оврагу, над которым повис мертвый экскаватор. Дошли до самого края. Красный закат, красные берега. Комариная тишина.

— А отчего земля красная, если меди тут нет? — спрашивает Витька Молохов, наш стажер.

— От крови, — мрачно отговаривается медноволосый Снигирев, старый рудокоп. Он так долго добывал медь, что сам омеднился.

— Спускаемся, братцы! На поклон! На поклон! — несетя со всех тут сторон. И люди, перекрестясь, лезут в овраг, карабкаются и падают, и кричат, выворачивая руки и ноги. И впереди всех бывший парторг Белобрысов, цепляет руками кровавый суглинок и с заголенным пузом все катится под гору, в темноту. Уже не пойми что крича. Все дальше и дальше, и гаснет, а за ним остальные. От страха крича кто на «Ё», кто на «Б».

На дне тихо. Все присмирели. Ни стоны, ни мата, ни вдоха. Не слышно, как колотятся наши сердца.

— Смотрите, — шепчет кто-то, и все запрокидывают головы. И тут такая картина открылась: в синем-синем небе серебряные звезды и меднолобая луна. Красота!

— Вот что значит небо с коврижку, — сказал опять этот кто-то, и все согласились.

— Вот и дождались, вот он, конец света! — сказал бухгалтер, богобоязненный член партактива.

— Типун тебе на язык, — ответил ему Снигирев и с достоинством перекрестился. За ним стали креститься и остальные. Истоиво и со словами молитвы, по пояс в воде и суглинке.

— Да не так, экая нехристь, — попрекает Снигирев молодого стажера, Витьку Молохова, который со страху пугает очередность и крестит себя на басурманский манер. И, проведя Витькиной рукой от плеча до плеча и от лба до пупа, сказавши: «Запомни!», Снигирев отступает назад, чтобы не мешать чужому испугу. И шалый малец крестит себя без остановки, с бомотанием «мамочка».

— Боже, спаси и сохрани! — шепчет бывший парторг. — Матерь Божья, Хозяйка Медной Горы, не погуби ты нас грешных! Верни нам медную жилу. Крестом и Богом просим тебя.

Долго молились. Уж небо и то потемнело, да зажглись звезды.

— Красота-то какая, — говорил Витька Молохов. — Красота...

— Будто шамальнул кто-то дробью, — замороженно говорил вохровец Дынин, глядяваясь в россыпи звезд.

— Верни нам медную жилу. Крестом и Богом просим тебя, — уж охрип Белобрысов.

Но молчит Хозяйка Медной Горы. Молчит, будь неладна. Равнодушная к кворуму рудокопов. Словно и нет ее вовсе. Словно и дела ей нет до нас. И не выдержал бессердечия бывший парторг, с кулаками бросился в жижу оврага. И бил, и кричал, и все непотребное, и все только критику. Испуганно и моля, и некрасиво до одурающей жути. И замолкает. И все бесполезно. Тишина. И дробью пробитое небо.

— Будь ты проклята, Хозяйка Медной Горы! — вдруг сказал Снигирев, словно и не по воле своей. Сызмальства рубил он в забоях породу и говорил как кайлом. Будь ты проклята. Мои деды, мой отец — все добытчики меди! Вся наша жизнь — только медь! Мы научились давать план. Медь стала скудной, мы научились обогащать. А теперь нам куда? Кто мы теперь? Без меди? Без чести? Будь ты проклята. Будь ты проклята, Хозяйка Медной Горы. Будь ты проклята!

И даже бывший парторг Белобрысов очнулся и со страхом тарасился на Снигирева. Да и мы хороши, стояли столбом и смотрели на горестного человека. Нет бы унять, да кто же знал-то тогда...

— Допроклинался, — трусливо сказал богобоязненный член партактива.

— Полундра... — прошептал Витька Молохов.

Бесшумно падал на нас экскаватор, и меркла звезда за звездой.

— Да ну! Бреешь! — сказал Федя.

— Век воли не видать! — ответил Хоттабка.

Мы грелись на теплом асфальте, только что опрокинутом из кузова МАЗа. Бригадир ушел с кем-то ругаться. Мы получили временную передышку.

— Нутром земли пахнет, — сказал принюхавшись Хоттабка. Единственный русский, он затерялся среди нас, сынов Малой Азии, гастарбайтеров, и все, даже бригадир наш Пахомов, большой тульский мужик, добрый душой и тяжелый в сердцах, и тот не сомневался, что Хоттабка из чурок.

Попадая на работы в Россию, мы брали русские имена, чтобы уметь откликаться. Так удобней работать. Прораб не умеет разбирать нас по родным именам, они вызывают в нем смех. Все, кроме Хоттабки,

звались на русский манер, а он позабыл свое русское имя и никогда о нем не грустил.

О таких говорят: «что поставь, что положь». И улыбается, как извиняется. И говорит, словно в чем виноват. Он умел расположить себя так, что все, каким бы ничтожным оно ни случилось, ставило себя выше его, и даже последний раб, скроенный по самым примитивным лекалам, ощущал подле Хоттабки достоинство, и в душе его слышалось: «А ведь я еще человек», — и ободрившись, он поглядывал на Хоттабку с веселостью и презрением, не подозревая о незримой пользе Хоттабки, таких как Хоттабка.

— Да ты откуда знаешь, какое нутро у земли? — спросил тогда в сердцах Федя-таджик, греясь на горячем асфальте то эдак, то так. Будучи инородцем, он не верил Хоттабке. Он не мог понять, как земля, которую топчут сплошь чужаки да инородцы, и инородней этой земле более всех чужаков только свои, как такая земля может оказаться живой? Вот это вот Подмосковьё? Со своими дүхами, тайнами, с легендами, былями, с Хозяйкой Медной Горы? Живой, как его родина там, далеко за лесами, где солнце превращает землю в песок, где небо из бирюзы, где голубые арыки со студеной водой и в земле кости предков? Федя-таджик не верил Хоттабке. Он поднял щепотку земли, растер ее в пальцах — она оказалась асфальтом.

— Врешь.

— Ей-богу не вру.

— Перекрестись! — и сузил без того узкие глазки. Хоттабка тогда улыбнулся, как извинился, и без дольного ропота наложил на себя русский крест.

Чем мы хуже?

Было скучно. Было темно. МАЗа с асфальтом нет, луны нет. Жги костер, грей воду. Ешь доширак. Только и доширак не бесконечен. Ни луны, ни МАЗа, вместо МАЗа Прораб. Хоттабку в парламентареры, он бельмесит по-русски.

— Может, домой?

— Твой дом аул! — подмечает точно Прораб, он слово на ветер не бросит. — Сукины дети. Вам бы лишь ваньку валять. Будете МАЗа ждать, пока не придет!

Мы согласны. Ждем, а МАЗ не едет. Скучно и как-то обидно.

— Чего он на нас все время вот так? — говорит Федя-таджик. — Мы что, не люди?

— А ему каково? Начальство. Волнуется. Ему же за нас отвечать.

— А где Хоттабка?

— Эй, Хоттабка!

— Да где же он?

— Идет!

— Где тебя носит?

— Доширак кушай? Тут немного. Слегка разварился.

Ест, улыбается.

— Слышь, Хоттабка, а чего дальше было? После того как на тебя экскаватор упал?

— А, вы об этом? — облизывает пальцы Хоттабка. — Да ничего.

— То есть как? Ты же тут? Кушаешь доширак. Как это ничего?

— Кое-что все-таки было.

— Ну давай, не тяни, говори.

— Мы к тебе как человек. Мы тебе доширак. А ты?

— Слышь, Хоттабка, ты нас не зли, мы же люди.

— Ну, было, было, — соглашается Хоттабка.

— Вот видишь, а говоришь — не было. Рассказывай давай.

Хоттабка досуха облизал вилку белого пластика и, сунув в карман, начал рассказ.

Что-то с того дня не заладилось. Ветра как-то задули. Дожди как-то залили. Денег сразу не стало.

— Апокалипс наступает, — говорит Галина Петровна, ведущий библиотекарь Детской библиотеки имени Горького, запирая дверь на замок.

— Апокалипс — это не шутки. Вы, прежде чем людей баламутить, назовите приметы, — упрекают старшего библиотекаря.

— Книжки никто не берет. Вот тебе и примета, — отвечает Галина Петровна. — Ученье свет, в неучении тьма. Вот тьма и наступает. Глянь-те-ка на горизонт.

Ан и вправду. Я во двор и кричать:

— Эй! Васька да Мишка да Нюрка! Вставайте! Айда на войну! Апокалипс наступает! Надо ударить по темноте светом ученья!

— Как это?

— Вопросы потом! В библиотеку! Времени нет, глядите на небо — Апокалипс наступает!

И тащу, а они упираются. Дети есть дети. Мы в библиотеку, а она на замке. Мы к Галине Петровне, а она в город уехала. А день тогда яркий такой, ни облачка.

— Как у нас, в Курган-Тюбе? — нарушает стройность рассказа Федя-таджик.

— Только безоблачней, — уверяет Хоттабка.

— Это ты врешь! Так не бывает.

— Я для примера.

— Да хватит вам! Что дальше-то было?

— Как что? Апокалипс.

Галина Петровна в город уехала. Оружие спрятано в библиотеке, а она на замке. Чем защищаться? Тьма накрывает, за нею гроза. На площади крики. Все бежит. Куда — неясно. Темно везде, до горизонта.

— Хозяйка Медной Горы ответила на молитвы, — кричат из толпы.

Содом и Гоморра. Куриная слепота, лица сливаются. И мы слились со всеми. Апокалипс, он ведь для всех. Надька, Мишка, Васька и я. И к оврагу.

— Тому самому, с экскаватором?

— Тому самому.

Сгрудились, толкаемся. Жутковато. Мишка протиснулся между дегтярцев.

— Что там? — кричим.

— Непонятно! — кричит он в ответ.

— Что там? — кричат вниз дегтярцы.

— Да хрен пойми! — кричат из оврага.

— А чем пахнет? — кричат сверху вниз.

— Да ничем! — доносится из разрыва в земле.

— Братцы, это же водка...

— Да нет, вам показалось! — кричат из разрыва.

— А что там? — кричат в темень оврага.

— Апокалипс! — доносится не слишком уж твердо.

— А отчего водкой пахнет?

— А чем же ему еще пахнуть?

— Так они же пьяные в дупеля! — кричит возбужденный Мишка.

— Братцы, там водка! Чистая водка! Бьет ручьем! Из земли! — вылез из-под земли Митя Мохов, веселый и хмельной, как Есенин. — Вот вам крест! Хозяйка Медной Горы откупной нам дала! Медную жилу на водку поменяла! Братцы! Апокалипс отменяется!

Окаменевшие стояли дегтярцы. Бабы от ужаса, мужики от вечного счастья.

— Врешь ты, Хоттабка, — говорит тут Федя-таджик. — Чтобы водка, да из-под земли?

- Да вот те крест!
- Неужто и вправду?
- Так и я говорю.
- Да как же такое возможно? Может, цистерна того? Опрокинулась?
- Да нет.
- Спиртзавод слил спирт в сточные воды?
- Понимаешь, о чем говоришь?
- Да как такое возможно?! Чтобы водка из-под земли сама потекла?
- Бог дает.
- Ты, Хоттабка, не завирайся! «Бог дает»! Ща насуем тебе, и Богу мало не будет.
- А зачем ты, Федя, обижаешься? — улыбается Хоттабка. — Ты в Азии траву куришь?
- Курю!
- А она сама по себе растет?
- Конечно, сама.
- И ее никто на заводах не делает?
- Конечно, нет. Растет себе где хочет, и все ее курят!
- Вот видишь. А чем мы хуже?

Подвиг Хоттабки

– Ты хотел знать, как умер Хоттабка? — Федя-таджик отводит взгляд, прячет глаза. Пережитое в нем ходуном. Он нóлил еще, опрокинул в себя, заговорил. — Хотел знать? Тогда слушай. Слушай, потом запиши, как ты умеешь. Чтоб (проглотил мат, как слезу) помнили...

Городок что твоя лысина, дважды сплюнь — попадаешь в одно и то же. Шабашим мы, значит, шабашим. Тут ведь как? На Первомай кладем асфальт и красим двери парадных. А на Победу, так, значит, побелка нижней части дерев и оснований.

Так вот, подрядил нас Прораб накануне Победы, чтобы мы, сталбыть, гастарбайтеры, зарыли яму. Вроде стыдная яма. Да в самом центре суцгорода. Под ногами памятника. Разрыть-то разрыли, чтобы газ, сталбыть, проводить, да отвлеклись. Не зарывать же. Огородили забором, ну а уж если забор — значит, за забором помойка. Традиция.

А тут слух прошел. Не иначе, говорят, как Сам приедет. Смекаешь? Как бы проездом, как бы инкогнито, — сталбыть, заскочит да и поздра-

вит неизвестного нашего солдата, что застыл с гранатой наотмашь на краю гнусной ямы. А теперь представьте себе эту пропорцию... Свита, репортеры, артисты для духоподъемности настроения. Торжество, военный оркестр, охажки гвоздик, и репортеры ловят телеантенной эфир, и все, что здесь, то будет там. И мир следит за нами. А тут, посредством дыхания, попадает в нос злой аромат... Вот тебе и пропорция... Сам — он человек, да с понятиями, жизнью испробованный, а другие, третьи лица, они же окромя документов, которые все же бумаги, ничего тяжелого в руках не держали. У них же «персперанты», им наш русский дух против шерсти. Мины такие подложат, что в телевизоре показать неприлично. А ведь это не шутки! Тут репутация и конфуз в масштабе вселенной.

Потому и повелели нам засыпать ту яму. «Сыпьте, — говорят, — сукины дети». Ну, мы и сыпем, а чего нам? Все одно некуда деться. Паспорта у Прораба. Нам несладко, а Прорабу вдвойне. Начальство ему — он нам. Крепкий мужик наш Прораб, сунет в рожу, если в печали, и все. А попадись нервный, да после ЦУ? Ведь завтрева утром девятое мая. Торжество, стало быть. А тут и конь не валялся. От этого нервы.

Так вот, приезжаем мы, стало быть, затемно, а там землю уже завезли, асфальт, стало быть, греют — нас вроде как дожидаются. Смотрим — а все уже отмечают. Прораб как нас увидел, так сразу же вдохновляет.

— Гастарбайтеры, — говорит, — необразованные. Я, — говорит, — думал, вы люди совестливые, — говорит, — а вы шлак, вам только бы деньги. Не оправдали моего расположения. Не исправите яму, признаем в этом злой умысел, и поедете до Воркуты по статье «терроризм». Тут с нас усталость дорожная вся и слетела. Похватали лопатки и к памятнику. Аромат такой, право неловко. Работа кипит, спорится. Прораб вдохновляет.

— Мы, — говорит Прораб с чувством, — для них такую победу, а они? А они предали наш СССР! Предали?

— Предали, — отвечает смиренно Хоттабка.

— Предали, — подтверждает Прораб. — А раз предали, так получите.

И смеется. И мы тоже. Пинком под зад ведь не страшно. А солдатик из серого камня, он стоит на самом краю. Не шевелится. Одним словом — герой, а мы у его сапог разгребаем. И вдруг кто-то чихнул.

— Это кто тут чихает на нашу святыню? — спрашивает интеллигентно Прораб.

Мы молчим, только мусор вжик-вжик — в кузов ЗИЛа.

— Это кто здесь оскверняет наши святыни?! — спрашивает шибче Прораб, и лицо у него красное. — Ты, что ли, Хоттабка?!

Тот ни жив и ни мертв, а Прораб богатырской рукой вытрясает из Хоттабки крамолу.

— Ты, — говорит Прораб, — паршивец мусульманский, ты, ваххабитская нехристь, пришел в гости — веди культурно.

И в яму макает.

— Признавайся, мерзавец!

— Может быть, я, — вздыхает Хоттабка.

— Может? — и снова макает.

— Простите, — идут пузырьки из квашни.

Наказание всегда больше проступка. И в этот раз дело едва не дошло до высшей меры, если бы... если бы не одно происшествие... Пока Хоттабка мысленно прощался со всей своей жизнью, со всем, что он так любил, — и лихорадочно вспоминал, и не мог сосредоточиться. Окурки, листья, вчерашние газеты, «Провансаль», еще черт-те что — все мешало, лезло в глаза, в нос и в рот — и душило. И тут захотелось вздохнуть. И в этот самый момент Прораб его отпустил.

Очухался Хоттабка, вокруг никого. А на постаменте стоит неизвестный солдат, только не памятник, а живой. Настоящий неизвестный солдат. В разорванной гимнастерке, в одной руке ПППШ, в другой граната, замах, и лицо перекошено, и лютая злость в глазах, а в глотке клокочет: «Ура-а!» И никого. Только солдат и Хоттабка. А рука с гранатой дрожит, опускается медленно.

— Боевая? — косит Хоттабка на гранату в руке.

— Боевая, — отвечает неизвестный солдатик, и снова замах.

— А война-то закончилась... — намекает Хоттабка на долгую и счастливую жизнь.

— Кто победил? — не верит неизвестный солдатик.

— Как кто? Мы... — отвечает Хоттабка, — то есть СССР.

— А почему Победа в кавычках? — показывает солдат на прошлогодний плакат.

— Потому что СССР ныне того... — отвечает Хоттабка.

— Что того?!

— Ну, того... понимаешь.

— А Сталин куда смотрит?!

— Товарищ Сталин, — тарачится на гранату Хоттабка, — скончался вразом народа.

— Врагом?.. Ты не шутишь?... Значит, дождались! — и солдат в объятиях душил Хоттабку, а тот все следит за гранатой.

– Значит, немцев нет? – смеется солдат.

– Откуда им взяться? – в унисон смеется Хоттабка.

– А ты кто такой? – спрашивает неизвестный солдат и становится строгим.

– Известно кто, гастарбайтер, – докладывает Хоттабка и улыбается.

– Шпион? – и солдатик стал еще строже.

– Боже вас упаси, какой я шпион? Я рабочий. Гастарбайтер. По вашему гегемон. Хоттабкой зовут.

– Туркестанец?

– Да нет, из-под Вологды, просто все так зовут... – несет абы что и от гранаты оторвать взгляд не может. А солдат это видит, пугает.

– Говоришь, вологодский? А акцент-то нерусский!

А Хоттабка лепечет и улыбается-улыбается.

– Вот и лопата моя.

– Не трогай лопату!

– Хорошо-хорошо. Вы, пожалуйста, гранаточку крепче, не ровен час упадет, грех случится. А теперь праздник, день Победы, и жизнь стала такой, что погибать теперь вовсе не подвиг – последнее дело.

– Рука, – говорит солдатик, – устала.

– А вы потерпите, – Хоттабка ему.

– Не могу, – говорит. – Слушай, браток, поддержи ты.

– Я?

– Ты, – говорит.

– Я того, – мнется Хоттабка, – боюсь оказаться недостойным. Я иностранец. Гастарбайтер. А тут такая честь – граната.

– Ничего, – говорит, – сдюжишь... А то упадет.

– Плохо, – кивает Хоттабка, а солдатик ему гранату сует.

– Ты, – говорит, – поддержи немного, мне в туалет, сам понимаешь, сколько лет терпел.

– Да, – говорит, – понимаю. Я бы не вытерпел.

– Ничего, братишка, – улыбается Хоттабке солдат. – Я мигом. Только ты мне дай свою куртку, сам понимаешь, пойду до ветру, а там патруль, тут и срок за дезертирство. Сам понимаешь.

– Ага, – и успел только мыкнуть Хоттабка, а он уже куртку тащит и шинелькой взамен укрывает.

– Я, – говорит, – мигом. Одна нога здесь, другая там. – И ушел.

Стоит Хоттабка на краю ямы, с гранатой в руках, в разодранной шинельке, ждет солдатика. А рука затекает. Слышит, кричат: «Памятник ожил! Неизвестный солдат! Памятник! Чудо!»

– Только этого не доставало, – размышляет Хоттабка. – Теперь Прораб меня в этой квашне утопит, и правильно сделает!

А уже бегут отовсюду и детишки, и взрослые, и протрезвевший Прораб. Это спьяну он добрый, а с похмелья суров. А погибать в вонючей квашне никому неохота. И убежать ведь нельзя — солдат вернется: ни гранаты, ни шинельки... неудобно.

— Солдат, — кричит Хоттабка, а в ответ тишина. А кругом уже люди.

— Эх, была не была, — размышляет Хоттабка, — притворюсь я солдатом. На время. В руке граната, на мне шинелька, вот ППШ. Авось не узнают.

А Прораб уже рядом. Хоттабка на постаменте, замахнулся гранатой, сделал лицо. Толпа окружила.

Федя-гаджик замолчал. Мы стали просить его закончить рассказ. Но́лили, преподнесли, он выпил, подобрел и согласился.

— Как они пели. Детишки. А потом читали стихи. Послушайте.

Он поднялся, уже хмельной, и стал говорить в нос, складывая рифмы, как бревна в штабель:

Как жаль, что нет у нас войны,
И не пойти, не стать героем,
Для этого мы ходим строем,
А в нем не чувствуешь беды.

А Хоттабка стоял и все слушал, под сердцем было тепло, под сердцем сладенько ныло. Как хорошо, думал Хоттабка, быть неизвестным солдатом. В правой граната, размах, в левой руке ППШ. Пусть поджилки трясутся — все равно хорошо. Только Прораб больно смурной, шепчется с шефом. А училка махнула ручкой, и дети построились у подножия памятника, а Прораб начал речь.

— Ты, — говорит, — конечно, герой, и мы все тебя чтим в высшей мере. Мы виноваты перед тобой, но тут уж ничего, как говорится, не попишешь... и ты нас пойми, а кому ноне легко? Мы все понимаем, но ты уж стоишь пятьдесят шесть годов, и все привыкли к тебе, и в целом, и так. И если решишь, ну там, сходить куда, или еще... то мы это вмиг, потому что оно и понятно, ты ведь бессменный, столько лет... в целом срок... Мы тебя всем городом просим, по-нашему, по-товарищески, как коммуниста и в целом героя, ты пока потерпи. Потерпи маненько, браток! Сам пойми, у нас праздник, начальство приедет, а тут такое! А уж после девятого мая, вот те крест, как коммунист, на духу, в Сочи, ей-богу, не пожалею!

Умеет говорить наше начальство, тут не только рука, тут душа немеет. А в руке замах и граната, а в гранате порох, и пружина чеки хочет отпрыгнуть, зажечь порох и посеять осколками и детей, и учительку, и

Прораба, и... Тут Хоттабка увидел солдатика в гастарбайтерской куртке, среди других гегемонов. Он был совсем еще мальчик, ему так хотелось пожить в светлом завтра. Ведь тут столько прекрасного, сколь не видела еще наша земля никогда. Как же предать его, как выдать? Это подло. Хоттабка не мог.

Он больше не чувствовал рук и ног. Канонадой в висках билось сердце. За спиной, в затекшей руке висела граната. А вокруг были люди и дети. И глаза щипало до слез, и они покатались, как первые капли дождя — и у солдатика, и у девочки с бантиком, и по сургучовому лику Прораба. И в мире стало тепло и уютно.

Он повернулся спиной ко всем нам и прыгнул в яму.

Люди затихли. За железной дорогой ругались собаки. Потом хрустнул взрыв и подпрыгнул столб грязи...

Федя-гаджик замолчал, и никто ничего не смог сказать поперек. Все помянули грешную душу.

Сергей Алхутов

Мотив к созданию рукописи

– Войди, – ответил начальник погранзаставы шороху из-за промокшего полога шатра, с облегчением понимая, что избавлен от дилеммы: чистить ли ему оружие (ординарец сегодня погиб в стычке с боевиками) или работать с картой района (он очень дорожил ей, поэтому как спешил закончить, так и боялся испортить).

Шорох немедленно материализовался по эту сторону завесы; его факел продолжал шипеть, избавляясь от капель густого дождя, мокрая медь пластинчатого доспеха, звуча, вытворяла с языком начальника заставы такое, будто он только что пробовал на зуб медную монету и случайно проглотил ее, а мокрые башмаки вошедшего смачно чавкали.

Двух вошедших.

– Солдат, сто дятлов тебе в душло, когда ты научишься вести себя тихо? Ты что, врагу сигналы подаешь?

– Я... господин... Ваше благородие... Виноват... – стало слышно смущенное съезживание пластин доспеха на покорной груди и виноватое сопение.

– Виноват, так точно. Вот станешь прав – повышу в чине. Ладно, что там у тебя?

– Разрешите доложить, господин начальник заставы. Вот, поймал деда...

– По форме докладывай!

– Мною задержан подданный императора по факту попытки перехода границы!

Факел, должно быть, отреагировав на слово «граница», зашипел, затрещал и вспыхнул ярче. И в его всполохе начальнику бросились в глаза двое стоящих у входа: безусый новобранец и глубокий старик без знаков различия, оба мокрые как лягушки.

Старик поднял руку, чтобы заправить за ухо липкую прядь волос. Есть у него знаки различия, есть! На пальце тяжело и густо блеснул золотой перстень служащего императорской канцелярии. На секунду на

чальнику показалось, что ливень удесятерил силу, с которой намеревался пробить крышу шатра, и, колдовским образом прободя ее, ударил барабанными палочками в барабанные перепонки, не прикрытые полями шлема.

— Солдат, — потряхнул с себя мокрое наваждение начальник заставы, — встань на караул у входа. Да накинь плащ на голову, три дятла тебе в дупло, ты же должен беречь здоровье для родины.

Новобранец, отдав честь, вышел в дождь, и начальник достал из бамбуковой коробочки еще лучину, чтобы восполнить то, что перестал давать вынесенный факел.

Он твердо верил, что восполнять недостающее — главная часть воинского искусства. Например, недостаток ума, наличествующий у бытовавшего в народе образа военного человека, он восполнял внезапностью, неожиданностью. А что может быть неожиданнее для пленника, чем гостеприимная встреча? Поэтому начальник заставы, засветив вторую лучину, взглянул на задержанного и произнес:

— Уважаемый, хотите рисовой водки?

Голос глубокого старика оказался столь же глубоким, а чистотой своей был сопоставим с чистотой седин его хозяина:

— Не хочу, но в качестве знака твоего гостеприимства с удовольствием приму стаканчик.

Начальник словно погрузился в этот голос, и его рука замерла на полпути к графину. Пощупав воздух там, где, как ему казалось, должен бы находиться заветный сосуд, военачальник внезапно для себя встал, подошел к жаровне с углями и бросил на них извлеченную из кожаного мешочка горсть благовоний.

— Разве я дух твоего предка? — отреагировал старец. Благовония, сорок дятлов им в дупло, реагировали не столь поспешно: они шипели, парили, студили под собой угли — словом, делали что угодно, лишь бы не тлеть. О вселенская сырость! Как только лучины не размокли!

— Да, вернемся к водке, — бросил скомканную фразу начальник заставы, поспешно достал два стакана и разлил по ним мутную жидкость, буркнув под нос: «У нас тут жизнь, знаете ли, не благовоние». Потом собрался с силами, вспомнил о своей командирской решительности и, подняв стакан, произнес:

— Ну, с прибытием!

— С прибытием куда?

Начальник заставы поперхнулся водкой, вытаращил глаза и поспешно бухнул стаканом о приземистый столик. Откашлявшись и вернув глаза в орбиты, он резюмировал свое состояние:

— О, двадцать восемь дятлов мне в дупло, и чтобы они там до зимы долбили! — и, почуяв, что такая речь может быть воспринята как неуважение к сединам, поспешил ответить на вопрос: — Конечно, на границу империи. А куда бы вам хотелось?

Он и сам порадовался тому, что начало допроса сложилось как незначай выпорхнувшая из его уст реплика. Но старик оказался крепким орешком, крепче водки; приблизившись к начальнику через столик и даже, кажется, слегка оторвавшись от циновки, он спросил:

— Хотелось? Сынок, ты полагаешь, к человеку моего возраста уместно применять категорию хотения? У тебя жив отец?

— Погиб три года назад на северной границе.

— Я полагаю, он вряд ли хотел умирать.

— Да, — осторожно ответил начальник заставы после некоторой паузы.

— И ведь все мы умрем. Более того, я полагаю, он вряд ли хотел умереть в сражении — он ведь погиб в сражении, как воин?

— Да, в сражении, — подтвердил начальник, — и да, вряд ли... впрочем, почему?

— Потому что воины сражаются, чтобы побеждать, так?

— Так... и в этом смысле вы правы — о, дятел мне в дупло, я так даже никогда не думал, и тем правее вы сейчас!

— И при этом, если он попустил себе погибнуть, то он вряд ли сильно жаждал жить.

— Вы полагаете?

— Я полагаю, что люди, думающие на войне о собственной жизни, дезертируют. Хочешь ли ты думать так о своем отце? Молчи, я верю в твою сыновнюю почтительность. Только при таких выводах о жизни и смерти уместно ли приписывать человеку возраста твоего покойного отца желание прибыть в конечную точку пути и тем более выпить водки?

Старик помолчал, усаживаясь на циновку, и добавил:

— У меня был сын твоего возраста. Он служил сотником в войске императора. Он погиб, как и твой отец.

— Я тоже сотник, — тихо произнес начальник заставы.

— Ты тоже умрешь, — ответил старик.

На этой печальной ноте они, помолчав, выпили рисовой водки. И она будто бы передала начальнику заставы часть своей крепости. Он поднял глаза; удаленность старика запустила привычный воину способ смотреть в глаза уже не опасности, а лишь объекту окружающего мира. Почему старик кажется столь знакомым?

— Так куда вы держите путь, уважаемый?

— Держу путь? Никто из нас не держит своего пути. Путь держит нас.

Крепость этого орешка не могла не вызвать у сотника желания его расколоть. Ну, распилить. Протереть насквозь. Хотя бы растворить скорлупу.

— Хорошо, отец, я поставлю вопрос по-другому. Вы переместились сюда из какого-то другого пункта. Где он находится?

— Я прибыл сюда из города Ло.

— Из столицы?!

— Да, из императорского дворца.

Начальнику заставы вновь показалось, что он знает этого старика, но беседа складывалась настолько удачно, что времени на работу памяти у него не было.

— Хорошо, а куда вы, уважаемый, прибудете спустя достаточное время после того как я вас отпущу?

— Достаточное для чего?

— Достаточное для прибытия.

— Для прибытия куда?

— О, пара дятлов мне в дупло, и чтобы они там потомство вывели! Отец, вы — особа, приближенная к императору. Вы оставили на себе из знаков различия только канцелярский перстень. Вы оказались ночью на пограничной заставе. Как вы думаете, что может в этой ситуации предположить пограничник империи?

— Предположение пограничника империи — область совести пограничника империи. Только я не особа, приближенная к императору. Он принял мое прошение об отставке, — старик усмехнулся. — Я особа, удаляющаяся от императора.

— Удаляющаяся куда?

— Сынок, ты доблестный страж границы. Но я не знаю, куда ведет меня мой путь. И ведь подумай: путь — это то, что обязательно пересекает границу. Не потому ли мы с тобой сидим за одним столом?

Сотник понял, что запутался, и оттого не нашел ничего лучше, чем дать себе наконец почувствовать, что рисовая циновка под его задом давно промокла. Он извинился, встал, поднял циновку, дал воде слегка стечь с нее, а затем неловко перекинул это творение из рисовой соломы через подвешенную над жаровней бечевку. Потом поискал по шатру бамбуковый совок для отчерпывания воды, наконец нашел и, подумав, кликнул новобранца.

— Я вижу, сегодня погиб твой денщик, — произнес старик, пока новобранец шуршал завесой на входе шатра.

— Да, а как вы узнали?

— Так ли важно, как я это узнал? Неважно даже, что погиб денщик. Важно то, что война — явление не только трагическое в целом, но и неудобное в мелочах.

Начальник заставы долго думал, что бы ответить, и наконец нашелся. Слегка жестикулируя бамбуковым совком, он высказался:

— Болезнь тоже трагична и неудобна. Наверное, мы, военные, подобны лекарям.

— Правильно, — согласился старик, — ты часто видел лекарей, которым бы удалось исцелить больного?

Сотник вновь почувствовал себя неловко, и оттого поспешил напяречь новобранца. Тот принялся отчерпывать совком лужу, наводнившую вдавренность на месте сохнувшей ныне циновки.

— Чашу для нечистот возьми, дятел тебе в дупло, что ты по полу воду гоняешь? — продолжил переадресовывать агрессию начальник. Солдат метнулся в угол, оттуда что-то загремело, зазвенело; наконец новобранец виновато вернулся в освещенное пространство с бамбуковым ведром неизвестного назначения.

— Да вот, взгляни, как твой солдат гоняет воду, — возобновил речи старик, — разве не подобен он врачу, гоняющему болезнь? А ведь причина появления лужи — в дожде и в шатре, не так ли?

Словно в подтверждение слов старца, на нос сотнику шлепнулась с потолка огромная, смачная и очень холодная капля воды. Ткань на шатре не меняли уже лет десять — командование, похоже, сэкономило на заставах. Начальник уже не один год старательно гнал от себя мысли о том, в чьи украшенные нефритом и жемчугом кошельки текут сэкономленные средства, — гнал, впрочем, лишь в те дни, когда он сам и его бойцы оправлялись от стычек с горцами.

Новобранец между тем начерпал полное ведро воды, и оказалось, что лужи как бы уже и нет. Сотник выпроводил его охранять вход, а сам снял с бечевки другую циновку, которую его ординарец вешал сушиться позавчера.

— Когда-то, быть может, через тысячи лет, — продолжал старик, — люди постигнут тайны субстанций и создадут лекарства, которые действительно лечат от болезней. Но подумай: если человек только и делает, что выздоравливает от каждой очередной из своих болезней, можно ли назвать его здоровым?

Начальник заставы осторожно устраивался на циновке и продолжал слушать.

— Так же и страна, — говорил старик, — может считаться могучей, когда на нее не нападают, а не когда она побеждает. Я бы сказал, что солдатам стоит платить жалованье лишь пока в стране мир, если бы не знал, что ни один из них не отвечает за войну. Они лишь несут ее на своих плечах. Я полагаю, ты со мной согласен, сынок.

— Во всем, уважаемый, вот только как быть с тем, что могущество нуждается в подтверждении?

— В подтверждении нуждается то, что не имеет в себе твердости, иначе зачем ему быть тверже себя самого? — старик пристально посмотрел на сотника. Тот отвел было глаза в сторону, но взгляд его остановился на ушах старца. Откуда он знает эти большие уши с будто бы переходящими в шею мочками?

— Впрочем, в твердости мало проку, — мерно продолжал старик. — Здесь, в горах, мягчайшим мхом обрастают камни, и он подтачивает их снаружи, а в долине валуны точит вода. А попробуй-ка рассечь воду мечом — что выйдет?

— Мечом можно рассечь человека, — сделал слабую попытку возразить начальник заставы.

— Да, — согласился старик, — твердость — это смерть. Ребенок мягок, старик твердеет, труп тверд. Вспомни историю Поднебесной: твердой ли властью правили первые властители? Государь Яо как-то ехал деревней и услышал, как поет старый крестьянин:

Солнце взойдет — и я работаю,
Солнце зайдет — и я отдыхаю,
Вырою колодец — и пью,
Пашу поле — и ем.

В чем же труд государя для меня?

Поговаривают, именно этого старика Яо впоследствии пригласил починить жаровню в его зимнем дворце — и все. А вот позже, семьдесят лет назад, такого крестьянина бы четвертовали, а его деревню сожгли. Тридцать лет назад его признали бы опасным сумасшедшим, чтобы убить не человека, а саму мысль. Это время твердой власти. Не пройдет и двух сотен лет, как дом Чжоу падет, как пали Ся и Шан, — вот насколько тверда его власть. И давай не будем больше о политике; лучше я научу тебя играть в мудрейшую из игр.

— Играть? Уважаемый, я не играл уже лет сорок. Я разучился играть, — высказал сотник скорее сожаление, чем возражение.

— Ну, не зря же я сказал «научу», — едва заметно улыбнулся старик, — и зачем бы я иначе тебя отучал, пока мы беседовали? А игра — есть ли среди дел мира что-то ближе к недеянию? Ну, слушай правила.

Правила игры, услышанные начальником, оказались предельно просты. Сама она именовалась «Камень, бронза, шелк», и именно одно из этих трех следовало соорудить из собственной руки. После двукратного встряхивания кулака он в третий раз либо оставался кулаком (камень), либо расправлялся в ладонь (шелк), либо выкидывал из себя средний и указательный пальцы (бронзовые ножницы). Партнер по игре делал одновременно то же самое, а дальше начинались чудеса: если в других играх силу побеждала сила, хитрость — большая хитрость, прием — более изощренный прием, то тут победа над одной фигурой непременно оборачивалась поражением перед другой. Камень затупит бронзу, бронза разрежет шелк, шелк обернет камень. Круг замыкается. Нет ни силы, ни хитрости, ни приемов. Движения рук должны были сопровождаться произносимой хором мистической формулой: «Цу-е-фа!»

— А что такое «Цу-е-фа»? — спросил сотник.

— Откуда я знаю? А кто знает, тот не говорит.

— А на что играем? На деньги?

— Какие деньги? На шелбаны.

Начальник заставы хитро прищурился:

— А можно я надену шлем?

— И этот человек говорил, что он научился играть! — улыбнулся старик. — Ты мне нравишься, сынок. Надевай шлем, я буду шелкать тебя по носу.

С полчаса мужи увлеченно играли в «Камень, бронзу, шелк», и нос сотника слегка покраснел, а на обширном лбу старика появилось несколько припухлостей.

— Отец, на вашем лбу нет больше свободного места для шелбанов, — со смесью огорчения и облегчения в голосе заявил старику сотник после очередной выигранной партии.

— Свободного места? — старик на минуту задумался. Затем, будто сделав какой-то вывод, улыбнулся. — Сынок, ты меня сейчас кое-чему научил.

— Я?! Чему же, уважаемый?

— Я очень долго и тщательно подбирал земные образы для великой пустоты. Я знал, что благодаря им просвещенный может понять то, что и без них доступно просветленному. Согласись: уничтожь пустоту в дупле — не будет дупла, а с ним умрет и дятел. Но оказывается — и этому научил меня ты, — достаточно саму ее назвать другими словами, как ее важность становится понятной даже простолюдину, что поутру пытается втиснуть себя в переполненную повозку. Спасибо, сынок.

— Отец... уважаемый... это слишком большая честь для меня!

— Да пошел ты на хуй со своей честью, — слегка нахмурился старик.

И — пустота. Пустота в мыслях. В мыслях начальника заставы. Вместо его мыслей. Как много свободного места! Свободного места... Если бы он мог понимать, то понял бы, что разом охуел.

И потом на свободное место пришло понимание того, что за человек сидит перед сотником. Его седины, его широкий лоб, его длинные уши — все совпадало со словесным портретом, а его способность опустошать — а значит, освобождать — человека совпадала с тем, что приписывала ему молва.

Это был Лао Цзы.

Именно эту догадку и выпалил начальник заставы старику. Старик пронизательно и чуть язвительно прищурился и, смерив сотника прищуром с головы до пояса, сообщил:

— Вообще-то, помимо кликухи, у меня есть фамилия. Я из рода Ли, и если ты рассчитываешь, что я останусь хотя бы до утра, зови меня Ли.

У сотника какое-то время прыгали в голове камешки мыслей о том, что положено говорить в таких ситуациях. Наконец он схватился за один из них и озвучил его:

— А я Инь. Гуань Инь, Инь с погранзаставы, так меня знают. Инь моя настоящая фамилия.

— Вот что, Инь с погранзаставы, — отозвался Лао Цзы, — налей нам с тобой еще водки, а потом я научу тебя второй игре.

Сотник разлил мутную водку по стаканам, чокнулся с величайшим из мужей Поднебесной, и тот произнес тост:

— Ну, за знакомство.

Они выпили. Водка грела — впрочем, не будь в шатре жаровни, эффект был бы другим. Пахло наконец благовониями, пахло, впрочем, и сыростью — сырым холстом, сырыми бамбуковыми кольями, сырой землей. Дождь звучал равномерно, лишь изредка как-то разом, резко выплескивалась на землю лужа, скопившаяся на прогибающейся под ней крыше шатра. Сотник заметил, что от одежд Лао Цзы исходит негустой, но будто налитый свинцом пар. Впрочем, взор сам отъезжал от старца и его одежд, притягиваясь к огонькам, цветущим на лучинах. Иногда удавалось расслабить глаза так, что казалось, будто огоньков четыре.

— Ну, Инь с погранзаставы, — продолжил Лао Цзы, — вот и вторая игра.

Вторая игра оказалась гораздо более приземленной по сути, чем первая, от нее даже пахивало торговлей — зато она учила, почему (а возможно, и как) надо жить в мире и согласии. Она называлась «Война и мир»; войну игрок обозначал кулаком, а мир передавал с помощью ладони, и выкидывались эти комбинации пальцев так же на третий раз. Некоторая хитрость заключалась в подсчете очков. А считались они вот как.

Помимо двух игроков, в игре присутствовала «земля» — неисчерпаемый кладезь очков. И в случае, если оба игрока выкидывали «мир», они получали из «земли» по одному очку — наверное, за счет мирного труда или естественного плодородия. Если же оба объявляли друг другу «войну», они клали в «землю» по очку, возвращая в прах тела своих воинов. Когда один игрок предлагал мир, а другой объявлял войну, то воюющий получал три очка, а миролюбец лишался четырех.

— А почему не трех, уважаемый Ли? — спросил сотник.

— Хотя бы потому, что во время войны пустеют и земли победителя, — отвечал Лао Цзы, — значит, победитель получает меньше, чем теряет побежденный.

— Хорошо, а почему при взаимной войне оба теряют? Разве на войне не бывает победы?

— Если на войне бывает победа, не равносильно ли это набегу на мирных жителей, когда воин получает три очка, а миролюбец теряет четыре?

— Нет, конечно, — уверенно ответил сотник.

— Правильно, не равносильно, потому что победивший на войне получает меньше, чем совершивший набег. И проигравший все же теряет больше, чем получает победивший. Только полного поражения не бывает: покоренный народ, вспомни историю, вновь поднимает голову и начинает новую партию игры.

— Я знаю полностью покоренный народ.

— Ты знаешь полностью покоренный народ — и либо его покорение было набегом на полностью мирных жителей, либо ты плохо знаешь этот народ. А уж будущего не знает никто — возможно, час этого народа еще не пробил.

— Ну что ж, уважаемый Ли, — подвел итог сотник, — давайте играть. А как мы будем считать очки?

— Да хотя бы вот как, — Лао Цзы достал из лежавшей рядом с ним дорожной сумки горсть мелких белых камешков, — у меня их много.

И он разделил извлеченную горсть поровну между собой и начальником заставы.

— А надо говорить «Цу-е-фа»? — поинтересовался тот.

— Вообще-то, для этой игры есть своя считалка: «Жо-ро-цо». Но есть и не менее подходящие слова, например, «Цу-га-бэ» или «Сунь-вань-вень». Впрочем, пусть будет «Цу-е-фа». Однако возьми себе время, чтобы подумать, как ты сыграешь.

«Подумать, — повторил про себя Инь. — Подумать». О чем тут думать? Конечно, мир... Он воин, но он устал от войны.

Да, но если он объявит мир, а Лао Цзы войну? Ведь это проигрыш!

А если и старец объявит мир, то он, Инь с погранзаставы, выиграет всего одно очко — против трех возможных!

Значит, война?

Война! И — либо мелкий проигрыш, либо крупный куш! Тем более, Лао Цзы не станет воевать.

И, кивнув, он вместе со старцем взмахнул рукой три раза. Цу-е-фа!

Они объявили друг другу войну.

— Уважаемый Ли! — воскликнул в изумлении сотник, — вы ведь убежденный противник войны!

— Инь, сынок, ты держишь меня за идиота? Я не хочу проиграть четыре очка, — Лао Цзы заговорщически подмигнул и скинул в сумку один из своих камешков.

Старик вновь оказался непрост. Он, похоже, мастерски владел внезапностью, которую Инь полагал главной частью воинского искусства. Лао Цзы был великим воином.

— Подумай вот о чем, сынок, — произнес он, когда сотник опустил свой камешек в его сумку, — нам с тобой еще играть и играть. Хочет ли каждый из нас лишиться всего? Когда подумаешь, начнем по новой.

Хм, опять подумай. А думал ли Инь в первый раз о том, что им еще играть и играть? Да нет, он не смотрел дальше одной партии. Дальше собственного носа.

Что ж, попробуем сыграть в мир.

Сотник кивнул, и — Цу-е-фа! — оба выкинули ладони.

Лао Цзы одобрительно улыбнулся и достал из сумки два камешка для себя и для партнера по игре.

Игра продолжилась. Убедившись на пятом ходу в миролюбии партнера, сотник на шестой предложил войну.

На седьмом ходу Лао Цзы ответил тем же.

Они поиграли в войну ходов десять, и кучки камешков стали заметно тощать. На восемнадцатом ходу Лао Цзы предложил мир. Кладя в сумку четыре своих камешка, он ободряюще улыбнулся сотнику.

На девятнадцатом ходу сотник принял мир, и кучки вновь стали расти.

— Знаешь, Инь, — заметил Лао Цзы, не прекращая игры, — есть способ играть, который я тебе сейчас не покажу. Он называется «Водная гладь», а иные называют его «Зеркало». Все, что нужно для такой игры, — перестать быть собой, слиться с партнером, стать его отражением, стать им. Тогда ты будешь повторять его действие не следующим ходом, а немедленно. Вспомни: ты первым объявил войну и выиграл. Я первым предложил мир и потерял. Если бы я продолжил войну, я потерял бы больше, чем теперь, несмотря на то, что все равно больше тебя. Но быть водной гладью — вот что всегда приносит меньше всего потерь.

— Потерять себя? — после некоторой работы мысли уточнил сотник.

— Ты так удивлен, будто никогда не влюблялся, — прищурился старик, — ведь потерю в любви начинаются с поисков себя и с желания отстоять свое.

«Потерять себя, — мелькнула мысль у сотника, — можно и еще в одном случае. Когда становишься учеником великого мастера». Он вспомнил, как ломал его учитель фехтования и как он, Инь, смог срастись с мечом в единое целое, лишь забыв о себе и доверившись учителю.

А кучки камней продолжали расти, превращаясь в кучи, превращаясь в груды.

— Я вижу, ты работаешь над картой, сынок, — как бы невзначай заметил Лао Цзы.

— Что можно укрыть от вашего взгляда, уважаемый Ли?! — риторически воскликнул сотник и не без гордости сообщил: — Я составляю карту этого горного района. Все перевалы, все вершины, все реки, все тропы, одна дорога. И конечно, все источники дров, бамбука, все возможные места засады горских боевиков, наша застава, два их поселка и два загона для скота.

— Будут ли на карте также самые красивые места? А будет ли на ней место у истоков ручья Цуй, где можно добывать самородную медь?

— Сейчас опасно добывать здесь самородную медь, уважаемый Ли. Да и не до красот.

— Ты знаешь, кому адресована эта карта?

— Конечно, знаю. Тому, кто сменит меня на должности. Ведь его пришлют лишь тогда, когда некому будет объяснять ему, что где находится.

Сказав это, Инь вдруг отчетливо понял: когда-нибудь некому будет объяснять ищущим мудрости то, что знает сидящий перед ним. А Лао Цзы, пристально взглянув на начальника заставы, произнес:

– Ты ведь сделаешь на карте различные надписи, не так ли?

– Да, конечно, – гордо ответил сотник, – я ведь умею писать.

– Не забудь сделать самую главную.

– Какую? – не дождавшись пояснения, спросил сотник.

– «Карта не территория». Только зная это, тот, кто тебя сменит, останется бдительным.

Оставаться бдительным. Что же сам он, Инь с погранзаставы, еще не добдел?

– Ну, – заявил Лао Цзы, внезапно сгребая предплечьем всю свою грудку камешков в подставленную сумку, – бдение бдением, а сон – другая часть нашей жизни. Не пора ли добавить и к ней? А завтра путь поведет меня дальше.

Вот что не добдел Инь! Величайший из мужей Поднебесной ускользает от него, как вода от меча. Как же уловить воду?

Сотник напрягся. Он выдал из себя: «Знаете, что я вам скажу?» – и принялся мерно молотить ладонью по столику. Его камешки подпрыгивали – совершенно так же, как его мысли.

И он нашел нужный камешек:

– Уважаемый Ли! Император принял ваше прошение об отставке. Но я не подавал такого прошения. И я как человек при государственной должности вправе задерживать вас здесь столько, сколько сочту нужным для империи.

– Мой путь никогда не примет моего прошения об отставке, – отозвался Лао Цзы, – и я как идущий по нему вправе ускользать от тебя, сынок, столько, сколько сочту необходимым для пути. А ты задерживай меня, задерживай, ведь решето способно удержать воду, правда?

– Сто сорок один дятел мне в дупло и там на самое дно! – выругался сотник и вновь принялся молотить ладонью по столику.

– Да ты волнуешься, – заметил старик, – чем же я тебе так важен?

– Игрой и картой, – внезапно для себя выпалил начальник заставы и лишь затем принялся пытаться понять, что же он сказал.

– Ну-ну, – слегка укоризненно покачал головой Лао Цзы, – остановись и разберись в себе более спокойно.

– Да, – порывисто кивнул головой сотник. – Да. Вот что. Вот что я предлагаю. Я предлагаю вам, уважаемый Лао Цзы, написать книгу. Понимаете? Оставить после себя карту того пути, по которому вы идете.

Будут другие ищущие путь. Как передать им знание? Напишите книгу, например... например, в пять тысяч знаков.

— К чему книги и к чему карты? Настоящее знание передается от сердца к сердцу, — ответил Лао Цзы.

— Я знал, что вы скажете что-то такое. Поэтому игра. Понимаете? Понимаете, уважаемый? Я предлагаю вам поиграть. Условия игры простые. Я вас прошу задержаться. Вы пишете книгу и оставляете ее мне. Мои солдаты нарубят бамбука и сделают дощечки, чтобы вам было на чем писать. Поиграйте. Вы играли так, как будто вы принимаете возможность воевать. Поиграйте так, как будто вы принимаете возможность написать книгу. А я отдам вам... я отдам вам мою карту! Хотите мою карту?

— Интересная игра, — кажется, согласился принять ее условия Лао Цзы, — только учти, сынок: моя карта — тоже не территория. Ты к этому готов?

...На следующий день, когда дождь прекратился и когда новобранец принес своему командиру первые бамбуковые дощечки, старик начал писать Дао Дэ Цзин — Книгу Пути и Благодати.

Марта Кетро

И поезд, и ветер

1. «Если хочешь нарисовать птицу,
ты должен стать птицей»

Приснилось однажды, будто в лицо ударила волна очень свежего воздуха, а чужая рука зажала мне рот и нос, не давая дышать, потому что этот чистейший прохладный поток был чем-то опасен.

Проснувшись, сначала не могла понять, откуда взялся образ, позже вспомнила.

Много раньше, возможно, лет двести назад, прочитала фразу одного художника, которую запомнила так: «После семидесяти лет я начал понимать строение природы, к девяноста годам моя линия делается совершенна, а к ста десяти станет совершенной моя точка». Ленивая цветочная память, как водится, сохранила только аромат, — на самом деле сказано было иначе¹ — но и того хватило, чтобы изготовить простенький эстетический концепт для домашнего употребления.

Он касался этой самой точки: никто из тех, кого я знала, не дожид до безошибочного умения ее поставить.

Но некоторым — иногда — удавалась линия.

Для начала нужно научиться ее узнавать, когда вдруг получается. Почти случайно, из сотни треков, фотографий, тысяч знаков, удается одна запись, одна картинка, один небольшой текст. И когда это про-

¹ «Все то, что я сделал до 70 лет, не стоит принимать в расчет. Только в возрасте 73 лет я приблизительно стал понимать истинное строение природы: животных, трав, деревьев, птиц, рыб и насекомых. К 80 годам я достигну еще больших успехов. В 90 лет я проникну в тайны вещей. К 100 годам я сделаюсь чудом, а когда мне будет 110 лет, каждая моя линия, каждая моя точка — все будет совершенным. Я прошу тех, кто увидит меня в этом возрасте, посмотреть, сдержу ли я свое слово», — так в действительности сказал Nakajima Tokitaro, Katsukawa Shunro, Tawaraya Sori, Hokusai Tomisa, Katsushika Hokusai, Taito, Iitsu, Gakyo Rojin Manji — Старый Безумный Живописец. В жизни ему понадобилось очень много имен из каких-то бытовых соображений, но мне приятно думать, что с каждым новым ником он избавлялся от архивов с небезупречными треками, фотографиями и текстами, пуская их по ветру.

исходит, будто попадаешь в поток другого воздуха — слишком чистого, чтобы существовать в нем постоянно. Он выбивает из легких городской бензиновый ветер, табачную смолу бессонницы, недостойные желания, перегоревшую любовь, иногда вытряхивает сердце. Но, вдохнув его однажды, все время будешь искать эту совершенную линию, мечтая о совершенной точке. (Везде высматриваю только таких, отравленных.)

Все это не имеет никакого отношения к перфекционизму, просто с какого-то момента знаешь наверняка, когда у тебя получилось, а когда нет.

А потом нужно бы сделать следующий шаг — не сохранять небезупречных линий. До такого на моей памяти тоже не дожил никто, но время иногда бывает настолько любезно, что делает эту работу за нерешительных покойников, и лет через триста остается только та самая линия — точка — поток воздуха, и тот, кто хотел нарисовать птицу, наконец ею становится.

2.

Сегодня искала в яндексе имя одного мужчины, который нравился мне так давно, что наш ребенок уже мог бы ходить в школу, будь мы чуть порасторопней тогда, — а вместо него нашла запись, на которой женский голос напоминал: «Насчет параллельных линий все оказалось правдой».

И я вернулась к старой мысли о забавной беде человечества, состоящей в том, что духовный опыт не передается. И эмоциональный, добавлю я теперь, тоже.

Мы бесконечно далеко ушли в точных дисциплинах с тех пор, как научились записывать и учить. Сейчас человеку нужно всего лет пятнадцать, чтобы освоить основной багаж какой-нибудь науки и самому изобрести нечто новенькое. Но касательно морали мы лишь чуть менее дики, чем две тысячи лет назад, а в вопросах любви и вовсе не продвинулись. Потому что сколько угодно можно записывать собственный нравственный опыт, можно даже преподавать его в школе, но для каждого юного существа эти слова будут пусты до тех пор, пока не наполнятся его собственной болью, стыдом и печалью. А до тех пор он будет холодно пролистывать чужие сентенции и только через много лет сможет отправить письмо, состоящее из одной фразы, — с тем, чтобы другой человек прочел его и закрыл лицо руками — слиш-

ком поздно, впрочем. Потому что голосом его тоски была произнесена и звучит теперь, все время звучит, такая очевидность: насчет параллельных линий все оказалось правдой.

Насчет параллельных линий все оказалось правдой, они действительно никогда не пересекутся.

Ни-ког-да — так стучит мой поезд, идущий по рельсам, что параллельны твоим. Невозможно извинить банальность этого образа, если ты никогда не расплющивал нос о зачерненное стекло, не пачкал пальцев, пытаясь сорвать забитую раму, не распахивал окно, не слушая воплей проводницы. Если не принимал в лицо удар горького железистого воздуха, пытаясь рассмотреть тот, другой поезд — потому что бог отвел катастрофу и ваши параллельные пути не пересеклись и не пересекутся никогда, все оказалось правдой.

3.

Подумала, надо бы уже завести концепцию Бога, хоть какую-нибудь. Пусть не на каждый день, но на трудный случай. Когда, бывает, твой поезд останавливается в ночи и часами не едет, нужно же у кого-то неприятным голосом спрашивать: почему, почему, почему? И чтобы он отвечал терпеливо, но не по существу: «скоро поедем», и покачивал тебя на коленях, обнимая двумя руками, пока не заснешь, а потом осторожно, стараясь не потревожить, протягивал третью или шестую руку и все-таки запускал твой поезд.

4.

Я ей всегда говорила — не спеши, не спеши, не спеши, а она слушала, кивала и жила так, будто на поезд опаздывает. Мы обе знали, что житейская мудрость — такой товар, который хорошо продается, да ничерта не стоит, и потому я говорила «не спеши», а она наклоняла изящную кунью головку, будто пряча лицо от сильного бокового ветра, и прыгала, прыгала, сильно отталкиваясь от края платформы. Успевала заскочить на подножку, совершала всего одно судорожное, неизящное движение, когда перехватывала белыми пальцами поручень поудобней, а потом снова становилось красиво — она поворачивалась на комплимент и улыбку. Ап! И я видела, что на ней опять эта дурацкая белая пачка, уже запорошенная едкой железнодорожной копотью, а все-таки лебединая.

Поначалу грешным делом думала, что она любит страх, ее возбуждает риск, перспектива быть растянутой, разорванной между поездом и платформой или, может, ей хочется стать чистейшим красным на чистейшем белом — прежде чем перемолотся в серую грязь.

Когда узнала чуть лучше, решила, что она бесконечно оттачивает на неудачное движение, когда цепляется, стараясь удержаться, за холодную сталь. Почему-то люди, которые всегда спешат, часто утверждают, что стремятся к совершенству в каком-нибудь деле. Наверное, чтобы оправдывать свою неточность в прочих жестах, и даже некоторую грубость, с которой отбрасывают остальную жизнь, пока отрабатывают прыжок, поворот и ап.

А потом однажды спросила прямо, а она ответила, что делает это, — да, — ради того судорожного и неизящного мгновения, единственного акта некрасивости, который разрешает себе на публике, редкого состояния, когда чувствует себя живой, а не бумажной. Рвется рисовая бумага, трещит шелк, ломается лакированный бамбук, когда хищный мускулистый зверек собирается для прыжка, для выхода силой, для безобразного рывка к цели, показывается на секунду, а потом снова прячется в мягкое и блестящее, становится не виден, но он там есть — и вот для этого все.

Думаю, она все же солгала, но теперь уже не узнать.

5.

Нестерпимо хочется в дуры — будто это какая-то деревня в средней России, куда можно уехать, собравшись в один день. И не как обычно, — с маленькой сумкой, в которой ноут, балетки на смену и салонный шампунь, остальное купим, — а с клетчатými баулами, рюкзаком и корзиной, прикрытой сверху белым платком. Сидеть на перроне на сумке, тревожно озирая свое добро, корзинка на проходе, и ее цепляют пассажиры, девки рвут колготки о торчащие пруттики, матерятся, шалавы, но мне не до них, не встать, не подвинуть к себе — неудобно. Объявят посадку, и нужно двумя руками затащить в вагон четыре места и пакет, пособачиться с проводницей, что в багажный не сдам, забить оба отсека под нижними полками — благо напротив свистушка с одной сумочкой, сесть, выдохнуть, дожидаться движения с обязательным «ну, поехали». Отдать проводнице билет, взять белье, «мужчина, выйдите», переодеться, достать из пакета яйца, соль, хлеб

и ногу, и тут только понять, что корзинку все-таки спиздили. Впрочем, я и не помню, что в ней было.

Храпеть.

Ехать не менее суток, а лучше двое, чтобы растерять гонор и остатки лоска, набраться смирения, научиться мерным мыслям и медленному времени.

Доехать на рассвете, за пятиминутную стоянку успеть ссыпаться со своими тремя местами (пакет бросить) и двинуть к автобусу. Полтора часа просидеть в тени, глядя, как подсыхает дорожная пыль, дожждаться, влезть, пособачиться с контролершей и все-таки заплатить за багаж, хотя и меньше, чем она сначала сказала; сорок минут по тряской дороге, и все, я уже в дурах.

Я уже в дурах, и мне хорошо, марля на окнах от мух, паутина в углах. Распакуюсь — окажется, все барахло, все старое и не нужно. Но не как сейчас, на куклу, а человеческое: лежалые халаты, байковые и простые, побитая молью кофта, другое теплое, ватное, шерстяное, носки, пахнущие козой, наволочка с бельем и документами, сапоги. Зачем все это? — затем что дура. Это моя скука.

В другой сумке пара тетрадок и конверты, три ручки и двенадцать цветных карандашей, вырезки из журнала «Здоровье», часы, отрывной календарь, иконка казанской в бумажных розах, пачка писем, радиоприемник и кастрюля. Это моя глупость.

А в рюкзаке еда: круп разных, макарон, тушенки, других консервов, масла бутылка, чай и сахар. Водки шесть бутылок, одну разбила, — с мужиками за дрова расплатиться. Деньги, кроме тех, которые в лифчике. Таблетки от давления, от живота и от сердца, мазь от спины, горчичники. Это мое спокойствие.

Буду так жить, всего бояться, ничего не ждать, помнить то, чего не было, все беречь, мало тратить. Ходить на реку, ночью спать, просыпаться утром, варить обед, сажать картошку. Зимой только, может быть, разрисую стены углем и раскрашу всевозможно, цветами и узорами, но к лету забелю.

Буду жить хорошо. Иногда, разве, задумаюсь — что там было, в корзинке-то? Только какая разница, всяко лишнее оно, раз мне без него хо-ро-шо.

Михаил Земсков

Быстро и почти просто

— Хочу есть, — тихо проговорил Арман.

— Кухня в конце коридора, — с издевкой в голосе предложил Рома.

— Не вздумай, — обернулся я к ним.

Полосы света от фар проезжающих на улице машин скользили по темной комнате. Авто влево — выхваченная из времени и пространства блеклая фотография Армана. Авто вправо — сюрреалистичный ежик Ромкиных волос. Картинки детства кружились где-то рядом с моей памятью. Я мог поднять руки вверх и начать их вылавливать, но мне не хотелось напрягаться. Я и так уже был напряжен до предела. Тронь меня — я взорвусь. Почему мы не взяли с собой тротил? Потому что Ромка все равно не смог бы его найти. Два пистолета, «Макаров» газовый и «Макаров» боевой — вот и все, что неопределенно, но тревожно отдавало смертью в этой комнате.

В детстве я ложился спать, а полосы света от фар проезжающих машин скользили по темной комнате. Каждая машина была такая родная — ведь она спасала меня от полной темноты. А сейчас — страшно даже выглядывать на улицу. Неряшливые ночные жигуленки и иномарки бездумно носятся по квадратам кварталов. Посмотрели бы они на себя сверху, с высоты в один километр. Жалкое зрелище...

— Ты веришь в судьбу? — спросил Арман Ромку.

— Конечно. Я вечно стучусь к ней в дверь, лезу в окна. Я настолько надоедаю ей своей верой и любовью, что у нее уже не хватает времени на тихих несчастных мальчиков вроде тебя.

— Тише ты, — шикнул я на него.

— Я их не слышу, значит, и они меня не слышат, — усмехнулся Ромка.

Он лгал. Их было слышно. Можно было даже различить отдельные слова. Во всяком случае, было ясно, что разговор идет о рыбалке.

Арман снял очки. Без них он выглядел непривычно и смешно. Неуверенно озирался по сторонам.

— Я не верю в судьбу, — произнес он спокойно и буднично, — наверное, поэтому я здесь.

— В таком случае было бы лучше, если бы верил, — усмехнулся я.

Ромка вскочил со стола, на котором сидел, схватил оба пистолета: боевой в правую ладонь, газовый — в левую, развел руки в стороны и направился к Арману.

Два пистолета, направленных в разные стороны... Несколько лет прошло с тех пор, как я посмотрел фильм «Десперадо». Тогда меня окружали совсем другие люди, и произошло это даже не в этом городе. Был ли я тогда счастливее? Уж точно счастливее, чем в настоящий момент. Почему воспоминания так важны для меня? Почему восемьдесят процентов мыслительной работы моего мозга так или иначе связано с воспоминаниями? Почему любой другой человек может легко покинуть свой дом, город, уехать на Запад или Восток, в Россию или в Германию, в Новую Зеландию или Южную Африку и чувствовать себя комфортно, а я могу жить только в том пространстве, которое неразрывно связано с моим прошлым? Мои воспоминания — и значит, моя жизнь — невидимой плацентой прочно прикреплены к определенным домам, улицам, деревьям. Мне становится физически плохо, когда старый желтый дом на улице Шевченко, мимо которого я проходил каждый день в течение многих лет, неожиданно перекрашивают в оранжевый цвет. Мой мир разрушается. Он разрушается каждый день. Дерево на улице Дзержинского заболело, и его спилили.

Как же все-таки получилось, что я уехал? Случайно.

— То, что ты здесь, это судьба, — подойдя к Арману, Ромка положил обе руки с «Макаровыми» на плечи приятеля. — Судьба решит, что с нами будет через шесть часов. Судьба дает нам шесть часов, чтобы выбраться отсюда. Шесть часов — разве мало?

Арман надел очки и презрительно посмотрел на него:

— Если бы ты сказал это шесть часов назад, это, может быть, звучало бы смешнее. А сейчас это звучит глупо.

— Хороший понт дороже денег. И хватит ныть. В конце концов, по пистолету в руки — и бодрым шагом к выходу.

Арман зло сплюнул и отвернулся.

— Может, вы заткнетесь?! — снова цыкнул я на них. Ромка вернулся на свое место.

— Из газового действительно можно несколько раз выстрелить и пробежать мимо, — предложил я.

— Мы всех в здании поднимем, — ответил Арман.

— А кто еще здесь есть-то?

— Охрана в правом крыле — раз, в подвале цех, они круглосуточно работают. Своя охрана у американцев на девятом. Короче, это уже на крайняк, здесь шансы пятьдесят на пятьдесят: убежим или не убежим.

— Я в школе легкой атлетикой занимался, — вставил Ромка.

— А я нет, — отрезал Арман.

— Тогда веревку надо искать. По ней из окна спустимся, — предложил другой вариант Ромка.

— Нет здесь веревки, — Арман открыл окно. Задумался, глядя на дома напротив, деревья, улицу вниз. Мне казалось, что сейчас из всех нас Арман был самым невозмутимым. Впрочем, в обычной жизни он невозмутимостью не отличался. Это был скорее холерик, чем сангвиник. Я познакомился с ним полтора года назад. Тогда он вернулся из Англии, где получил магистерскую степень по специальности «связи с общественностью», и только начинал работать в пиаровской сфере. Ему исполнилось двадцать четыре, он был полон энергии, амбиций и гениальных идей, спал по пять часов в сутки и собирался в две тысячи двадцать первом году стать президентом Казахстана. За последние полтора года он успел поработать в администрации президента, в канадской нефтегазовой фирме, в двух казахстанских компаниях, связанных с аналитикой и политологией. Казалось, что из-за своей неудержимо хлещущей энергии он не может долго задержаться на одном месте. При этом на каждом рабочем месте Арман быстро добивался успеха и за три месяца мог так продвинуться по службе, как и не снилось кому-нибудь другому, проработавшему в компании десять лет. Судя по всему, впереди Армана ждала блестящая карьера. Но где-то с месяц назад Арман «сорвался». Из холерика в один момент превратился во флегматика, правда, с периодическими вспышками прежней возбудимости и увлеченности. Такие вспышки длились обычно недолго — два-три часа. В остальное время он был молчалив и задумчив. Его внимание часто привлекали какие-нибудь незначительные мелочи. Например, однажды я был свидетелем того, как Арман в течение пятнадцати минут внимательнейшим образом изучал незатейливый узор перечницы в дешевом кафе, после чего спросил меня:

— Тебе нужны деньги? Тысяч сто зеленых?

Был ли я влюблен в Армана? В какой-то мере да. Иногда при одном взгляде на его лицо мне становилось как-то тепло на душе и я улыбался. Светлая кожа, немного неправильные и грубоватые черты лица, которые придавали ему мужественное выражение. Внимательный и умный

взгляд. Видя мою улыбку, Арман улыбался в ответ. Это очень напоминало ту влюбленность, которая часто присутствует в мальчишеской дружбе — первая дружба, как и первая любовь, всегда особенна. Хотя наша с Арманом дружба совсем не была первой — ни для него, ни для меня. Наши отношения даже и дружбой, наверное, нельзя было назвать.

Арман отошел от окна и сел в кресло.

— Последние несколько лет я только и делал, что учился тому, как дурить голову людям, — грустно вздохнул он, — а потом, когда научился, начал применять это на практике. Слишком активно применять. К тому же я хороший специалист в этом деле. И мне это жутко нравилось. Нравилось своей удивительной простотой. Для меня было откровением узнать, как глупы люди.

— Конечно, глупы, — с усмешкой вставил Ромка. Арман бросил на него странный взгляд и продолжал:

— Семьдесят-восемьдесят процентов населения можно как баранов заставить делать все что угодно. Появление Гитлера или Сталина — это не какой-то исключительный случай из истории. Их появление совершенно закономерно. Оно в точности отвечает характеру и специфике людской массы. Я удивляюсь, что Гитлеры не появляются снова. Впрочем, это нам кажется, что не появляются. А на самом деле те, кто у власти, немногим отличаются от Гитлера и Геббельса, когда дело касается умения одурманивать людей. Это и у нас так, и на Западе. Везде одно и то же.

— Тебя что-то в дебри какие-то потянуло, — заметил Ромка, — время неподходящее, по-моему. Хотя времени у нас, вообще-то, действительно пока много.

— Ты зачем сюда пришел? — Арман снова посмотрел на Ромку странным взглядом.

Ромка на секунду смешался:

— Как зачем? Мы же вместе сговорились и пришли.

— Я имею в виду вообще. С какой целью?

— Ну... За деньгами.

— Вань, а ты? — Арман перевел взгляд на меня.

— За тем же, — пожал я плечами.

— Хорошо вам, — Арман замолчал и задумался.

— Ты что-то расклеился, по-моему, — Ромка недоверчиво на него посмотрел.

— Нет. Ни фига. Просто мне вдруг захотелось понять, почему я в конце концов оказался здесь.

— Ни фиги себе! Сам нас притащил фактически, а теперь спрашивает! Да и какая разница?! Оказался и оказался. Теперь надо думать, как выбираться. Надо просто делать дело.

— А мне однажды надоело делать свое дело. Надоело дурить людям башку.

— Так говоришь же, что нравилось.

— Сначала нравилось, а потом стало скучно и стыдно, — Арман снова снял очки. Закрыв глаза, провел по ним рукой, — стыдно за людей. За их глупость.

— Я тоже не люблю людей и их глупость, — подхватил Ромка, — но мне нет до них дела.

Зазвонил телефон. Все вздрогнули. Ромка схватил пистолет, снял предохранитель и обернулся к двери:

— Они сюда не придут трубку снять?

— Это факс, — успокоил нас Арман.

«КЭнон» новой модели зашелестел бумагой. Арман подошел к факсимильному аппарату, взял присланное сообщение, пробежал глазами и усмехнулся чему-то своему.

— Пока, может, хоть деньги посчитаем? — предложил Ромка.

— Что их считать? Триста штук там, — ответил Арман.

— Мало ли...

— Триста штук. Тридцать пачек по десять тысяч.

— По сто штук... Я думал, меньше получится, — усмехнулся Ромка.

Арман вернулся к окну и присел на край стоящего рядом стола. В руке он держал лист из «КЭнона».

Каждый из нас понимал: пока лучшего плана, чем ожидание, нет. Но если ничего не изменится в течение следующих пяти часов, нам придется кардинально поменять стратегию. Ромка, например, готов был взять по пистолету в каждую руку (в правую — боевой, в левую — газовый) и побежать по коридору вперед, на свет, льющийся из софитов в зале для гостей. В зале расположились двое охранников и двое их друзей. Ромка выпустит все пули, но если какая-нибудь из них и попадет в цель, то только случайно. Еще он отравится газом из своего же пистолета и упадет замертво на выходе из нашего крыла здания.

Я до сих пор не знаю, как Ромка оказался третьим. Случайно. Я всего лишь хотел купить у него газовый пистолет.

Неожиданно в коридоре послышались женские голоса. Я подошел к двери. Вся наша комната была выполнена в футуристическом стиле. В частности, дверь представляла собой композицию из металлических

пластин и стекла. Через стекло я попытался разглядеть, что происходит в левом конце коридора, у входа в гостевую зал. Там промелькнули две женских фигуры.

— Каких-то девчонок подтянули, — прокомментировал я.

— Хорошо. Может, все вместе свалят куда-нибудь, — Ромка тоже пошел к двери.

Я понял, что больше всего меня раздражало в Ромке. Он принадлежал к тому типу людей, которые однажды разделили свою жизнь на две половины: наслаждение жизнью и плата за наслаждение. Они построили четкое математическое уравнение и всю жизнь бьются только над одной задачей: как увеличить первую часть уравнения и уменьшить вторую. Они не видят и не знают в этой жизни ничего, кроме этих двух частей. Сколько бы Ромка ни говорил, что верит в судьбу, на самом деле он верил только в это равенство. В его представлении за сто тысяч и те удовольствия, что они дают, нужно было много заплатить. Он готов был произвести оплату, но в то же время надеялся на скидку. На уменьшение величины второй части уравнения.

Арман усмехнулся:

— Если бы кто-нибудь в конторе знал, чем тут наши охранники по ночам занимаются...

— Накатай на них телегу, анонимно, — рассмеялся в ответ Ромка, — официально ты уже вряд ли что сможешь для своей конторы сделать. О, а может, ты их сейчас заловишь на месте преступления? На эффекте неожиданности сыграем, и пока ты с ними разбираться будешь, мы с Ваней незаметно проскользнем.

— Я тебе говорил уже, что всем приказано меня сюда на пушечный выстрел не подпускать. А если буду замечен в здании, то меня из здания просто вышвырнут, только предварительно ребра переломают.

— И чем ты только им так досадила?

— Глупостью своей.

Ромка прошел вглубь комнаты и развалился в рабочем кресле у одного из столов:

— Может, поспим пока пару часиков?

Ему никто не ответил.

— Арман, а ты за каким столом сидел? — обернулся к нему Ромка.

— В том углу, у стены, — кивнул головой Арман.

Ромка встал со своего места, прошел в дальний угол и сел в бывшее Арманово кресло. Покрутившись в нем немного, он устроился поудобнее и уставился на свет ночных огней за окном. И наконец замолчал.

Наверное, я соврал, когда сказал, что пришел сюда из-за денег. С одной стороны, это, конечно, так. С другой... Все гораздо сложнее. Мне начинало казаться, что прошлое за моей спиной — то, что сегодня привело меня сюда, — в некотором смысле было сродни тому пути Армана, который привел его в эту комнату.

В течение последнего года меня не покидает чувство безнадежности, упадка и разрушения моего мира. Нынешняя ночь была всего лишь апогеем этого настроения. Возможно, кто-то «сверху» решил наконец написать финал и для этого привел меня сюда, в новый шикарно обставленный офис политологической фирмы. Триста тысяч долларов и два пистолета выполняли одновременно роль украшения и слагаемых конечного уравнения.

Что я имею в виду, когда говорю «мой мир»? Чай №36, зеленый горошек «Globus», квас из желтой бочки-прицепа, груды желтых листьев в парке, мультипликационные Винни-Пух и Карлсон. Потрепанный томик Толстого, репродукция «Явления Христа народу» и голос Высоцкого из динамиков. Соседская собака Граф и солнечное пасхальное утро. Моя синяя куртка и старые кроссовки. Конечно, это не целый мир, а только маленькие материальные символы-зацепки, около которых складывалось мое существование.

Прошло почти два года с тех пор, как я переехал из Алма-Аты в Астану. Может показаться, что этот переезд спровоцировал начало разрушения моего мира и что все легко вернуть, если я перееду обратно в южную столицу. Черта с два. Все гораздо сложнее. Как говорили какие-то греки, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. А кто-то добавил, что даже единожды нельзя. Особенно если боишься крокодилов.

Писклявая трель телефона, отличная по звуку от факса. Все вздрогнули.

— Охранники сюда не придут, — успокоил Арман, — здесь просто автоответчик ночью работает.

После двух звонков действительно автоответчик приятным женским голосом ответил:

— Здравствуйте, вы позвонили в консалтинговую компанию «Пять А». Мы работаем каждый день, кроме субботы и воскресенья, с девяти утра до шести вечера. Перезвоните нам, пожалуйста, в это время или оставьте свои координаты, чтобы наш сотрудник мог с вами связаться. Оставьте свое сообщение после сигнала. Пи-ип.

После сигнала низкий девичий грудной голос решил оставить сообщение:

— Алло. Арман, привет. Возьми, пожалуйста, трубку.

Арман дернулся как ошпаренный. Он подбежал к аппарату, протянул к трубке руку, но вдруг так и замер.

— Не рефлексируй и не стой столбом, а возьми трубку, — продолжил голос. Арман послушался.

— Жанна? Привет. Каким образом...

— Я всегда имею лучшее представление о твоём местонахождении, чем ты обычно думаешь.

— Ты откуда звонишь?

— Из своей новой машины. Я в двух кварталах от тебя.

Я видел Жанну два раза. Оба раза — вместе с Арманом. Это была красивая, высокая и стройная девушка, выглядевшая гораздо моложе своих двадцати трех лет — совсем как выпускница средней школы. В ее внешности сразу привлекали внимание очень белая кожа и светлокориые глаза, в которых довольно откровенно читалось пренебрежение к окружающему миру. Вдобавок она была очень умна и сообразительна. Не очень разговорчива, но в разговоре исключительно тонка и иронична. На мой взгляд, все вместе это представляло довольно взрывоопасную смесь. Возможно, Армана и свалило с ног одной такой взрывной волной.

— Что надо? — грубо спросил Арман.

— Узнать, как у тебя дела, — голос Жанны немного дрогнул.

— Прекрасно.

— Врешь. Я знаю про охранников в гостевой комнате.

— Ну и что? Я тоже про них знаю.

— И после этого врешь, что прекрасно дела.

— Ладно. Все прекрасно, за исключением охранников.

— Уже лучше. Жить хочется?

— Как всегда.

— Какого фига ты туда полез-то?

— Развлечься.

— В Диснейленд бы съездил.

— Там деньги платить надо. А тут еще и получить можно.

В коридоре послышался какой-то шум. Я посмотрел через стекло двери. Обняв молодую девушку, к нашей комнате направлялся парень лет тридцати. Парень говорил что-то девушке на ухо, девушка кокетничала и смеялась. Они оба были немного пьяны. Сделав отчаянный жест рукой Арману, я отскочил от двери и спрятался за одним из столов у окна. Арман быстро проговорил в телефон:

— Погоди, тут проблемы. Я тебе перезвоню, — и залез под стол, на котором сидел. Ромка схватил оба пистолета и встал за дверью.

— Под стол, идиот! — прошипел я ему с отчаянной гримасой, что заставило его отбежать от двери и спрятаться под одним из свободных столов.

Через минуту дверь отворилась и в комнату вошла влюбленная парочка. Парень крепко сжал девушку в объятьях и поцеловал. Потом несколько отстранил ее от себя, смахнул с одного из столов папки, уложил на него девушку и начал неловко снимать с нее одежду.

В течение следующего получаса я возненавидел сексуальные отношения между мужчиной и женщиной.

В течение следующего получаса несколько раз звонил телефон, но сообщений на автоответчике звонивший оставлять не решался. При каждом звонке парень матерился и двигался агрессивнее и резче, от чего партнерша начинала подвизгивать и просила сбавить темп.

После апогея любовники не торопясь, как-то буднично и скучно оделись, вышли из комнаты и направились обратно в гостевой зал.

Подождав некоторое время, мы вылезли из укрытий. Арман закатился беззвучным истерическим смехом. Ромка некоторое время мрачно и непонимающе на него смотрел, потом грубым голосом объявил:

— Я хочу домой.

— Мы с Жанной... на этом же столе, — выдавил из себя Арман. Я так и не понял, почему это его рассмешило.

— Она же до этого звонила?

Продолжая смеяться, Арман кивнул.

— Так какого же хрена?

— Отвянь, — прекратил наконец смеяться Арман.

— Пусть она нам сейчас поможет, — вставил Ромка.

— Она нам не поможет.

— Почему?

— Потому что стерва по характеру.

— Да ты погоняешь. В такой ситуации...

— В любом случае, я не буду ее просить.

— Ну ты че... Тут жизнь наша зависит. Позвони ей.

— Не лезь не в свое дело.

— Это же мое, мля, дело. Я домой хочу.

— Я не позволю. Точка, — Арман отвернулся и подошел к окну. Зазвонил телефон. Ромка схватил трубку.

– Алло. Армана? Да, сейчас, – протянул трубку ему.
Арман посмотрел на Ромку с ненавистью и взял трубку:

– Да.

– Что у вас там случилось?

– Любовные игры.

– Кто с кем?

– Групповушка.

– Что же меня не позвал?

– И без тебя хорошо.

– Кто-то когда-то говорил, что только со мной ему хорошо.

– Тебе же первой стало хорошо с кем-то еще.

– С Айдосом? Кто сказал, что хорошо? Я этого не говорила.

– Зато сделала.

– Тебе не скучно отношения выяснять?

– Скучно. Зачем вообще тогда ты звонишь?

– Ты это у меня уже спрашивал. Я просто хотела предложить тебе одну вещь. Положите деньги на место и идите домой. Сколько вас там, кстати?

– Не важно.

– Хорошо. Охранник вас остановит. Но в этот момент ему позвонит Айдос и скажет, чтобы вас пропустили.

– Айдос рядом с тобой?!

– Нет, конечно.

– Он знает, что мы здесь?

– Еще нет. Я ему позвоню.

– Жанна, зачем ты это делаешь? Тебе мало того, что ты уже сделала?

– Нет. Просто сейчас я хочу тебе помочь.

– Пошла ты... – Арман повесил трубку.

– Что она хотела? Почему ты трубку повесил? – встревожено спросил Ромка. – Она хочет нас сдать?

– Не волнуйся, не сдаст.

– Так почему ты не попросил ее помочь?

– Потому что она сама предложила, – попытался усмехнуться Арман.

– Ты что, гонишь?!

– Нет, – снова усмехнулся Арман.

– Да объясни все нормально, козел! – Ромка схватил его за грудки.

– Отвали, – Арман ударил Ромку обоими кулаками в грудь. Тот потерял равновесие и попытался схватиться за стол, но вместо этого смахнул на пол телефон.

— Тише вы, идиоты! — я сделал судорожную и жалкую попытку поймать телефонный аппарат. Ромка хотел опять броситься на Армана, но замер на полпути. Мы услышали шум из коридора, голоса охранников и их гостей.

— Хватит из себя крутого охранника строить, — громко сказал один второму. Все рассмеялись. Потом стало тихо.

— Что же мы сотки свои не взяли, когда сюда пошли? — вздохнул Арман.

— Да, надо было хотя бы одну взять с какой-нибудь левой картой, — согласился Ромка.

— Так ты же в конце концов и не успел за какой-то карточкой захватить... — бросил на него недобрый взгляд Арман.

— Не успел... Раньше надо было думать. Такие дела за полдня не решаются, — с вызовом ответил Ромка.

Мы снова расселись по креслам и замолчали. Пространство комнаты замерло в бездействии и тишине. Я подумал, что хотя бы в такие минуты время может позволить себе роскошь остановиться. «Нет», — улыбнулось время.

Я посмотрел на Ромку. Он теребил серьгу в левом ухе. Три маленьких серебряных перышка — довольно глупый дизайн для сережки. Неожиданно Арман обернулся к Ромке:

— Скажи, что заставляет тебя жить?

Ромка бросил на него удивленный взгляд.

— Почему «заставляет»?

— Если бы не заставляло, ты бы уже умер...

— Ничего меня не заставляет. Живу и живу...

— А тебя? — Арман обернулся ко мне.

Я пожал плечами:

— Не знаю. Раньше все время что-то заставляло... Сейчас, наверное, уже просто по инерции двигаюсь.

— И давно по инерции?

— Фиг его знает. Года два-три. Может быть, больше.

— Хорошая инерция — надолго хватает.

Я снова пожал плечами.

— У меня инерция всего за один месяц куда-то испарилась.

— Если у тебя инерция пропала, какой смысл был сюда идти? — спросил я.

— Выходит, что не было. Но в какой-то момент по-детски захотелось большой суммы денег, чтобы можно было сбежать на какой-нибудь тропический пляж. Я ведь никогда в жизни не видел тропического пляжа.

— Я тоже не видел, — усмехнулся я.

— И я не видел, — вставил Ромка. — Только в рекламе «Баунти». Поэтому никогда «Баунти» и не покупал.

— Почему? — с усмешкой обернулся к нему Арман.

— Сразу было понятно, что реклама врет. Как будто если бы я попробовал «Баунти», то сразу почувствовал бы себя как на этом острове. Но я ведь заранее знаю, что не почувствую. Что съем этот маленький батончик, и все равно так же буду сидеть в этом холодном городишке.

— Логично, — согласился Арман. — Лучше сэкономить на «Баунти» и отложить эти деньги на будущую поездку на Мальдивы.

— Мальдивы — это что? — спросил Ромка.

— Ты не знаешь, что такое Мальдивы? — удивленно поднял брови Арман. — Мальдивы — это рай на Земле. Место, где круглый год весна. Острова на широте экватора в Индийском океане.

— Буду знать, — безразлично буркнул Ромка.

— А ты на что мечтал свою долю потратить? — спросил у Ромки Арман.

— На квартиру матери и брату. Остальное, если останется... тачку себе, наверное, куплю.

Арман усмехнулся. Мы замолчали. Я вдруг почувствовал бесконечную усталость. Веки мои слипались, тело размякло. Хотелось плюнуть на все и устроиться спать в одном из кресел. Ромка зевнул. Арман смотрел в окно, уставившись в одну точку. На столе рядом со мной я заметил тот листок, который Арман взял с факсимильного аппарата. Незаметно для Армана — словно невзначай — я подвинул его к себе и прочитал:

«Ердос, как обещал, текст для прессы: «17 июля бывший сотрудник фирмы «Пять А» Арман N украл из кассы фирмы сумму в двенадцать тысяч долларов. Эти средства были собраны в ходе благотворительной акции, проведенной компанией «Пять А» в пяти областях Казахстана. В ходе операции «Перехват» преступник был схвачен по горячим следам».

Я невольно бросил быстрый взгляд на Армана. Он все так же смотрел в окно. Я ничего у него не спросил, а через некоторое время общая картина и так сложилась у меня в голове. Сегодня было 16 июля. В этой странной игре Арман опередил своих врагов на один день. Впрочем, это ни о чем еще не говорило и не увеличивало наши сегодняшние шансы.

— Блин, как я хочу есть... — тихо, словно сам себе, сказал Арман, — просто поесть. Мяса с рисом, в сметанном соусе. Сидеть, смотреть в стену и есть. И больше мне ничего не надо в этой жизни.

В коридоре опять началось какое-то движение. Я подошел к стеклянной двери и посмотрел в конец коридора. Двое парней с девушками стояли около входной двери и прощались с охранниками. Сначала они чинно пожали друг другу руки, потом обнялись. И гости, и хозяйева были изрядно навеселе и еле держались на ногах. После нескольких минут прощаний парни с девушками наконец вышли и закрыли за собой дверь. Охранники вернулись в гостевую комнату и выключили свет. Минут через десять послышался громкий и смачный храп.

Мы не могли поверить своему счастью. Внутри меня все ликовало. Ромка был в таком же радостном возбуждении. Он деловито уложил в сумку пакет с деньгами, сверху сунул пистолеты и застегнул замок-молнию. Арман с усмешкой наблюдал за ним.

— Странно все получается, — сказал он.

— Пошли. Я все собрал, — объявил Ромка.

— Пошли, — с улыбкой согласился Арман.

Мы тихо вышли в коридор и направились к выходу. Здесь храп звучал просто неестественно — оглушительно — громко. Мы приблизились к гостевой комнате и заглянули внутрь. На диване спал охранник и оглушал окружающее пространство тракторными звуками. Второго охранника в комнате не было.

— Где второй? — испуганно пролепетал Ромка.

Мы нервно огляделись по сторонам. Никого. Входная дверь была закрыта изнутри.

— Елки-палки... — тихо протянул Ромка, — где же он?

Я автоматически заглянул под стол и за кресло в гостевой комнате, прекрасно осознавая, что взрослый человек ни там ни там поместиться не смог бы. Из туалета рядом послышался приглушенный звук сливаемой воды. Мы переглянулись и бросились к выходу. Арман схватил ключ, быстро повернул его два раза против часовой стрелки и распахнул дверь. Мы вышли наружу. Арман прикрыл за нами дверь.

— Сюда, — Арман указал рукой на лестницу. Мы спустились на второй этаж и прошли в подсобное помещение, через окно которого несколько часов назад пробрались в здание. Открыли окно и спрыгнули на землю.

— Офигеть! — произнес Ромка.

– Пошли, что ли, – Арман кивнул головой в сторону арки, выходящей на улицу.

По улице все так же бездумно носились жигуленки и иномарки. Хотя теперь у меня к ним проснулось гораздо более теплое чувство.

– Пешком домой пойдём? – спросил я.

– Давай мотор поймаем, – скривился Ромка.

– Я в ресторан, – отказался Арман. – Пойду есть.

Следующим утром Арман случайно на улице встретился с одноклассником Эмилем. У Армана на плече болталась небольшая сумка.

– Кого из наших в последнее время видел? – улыбнулся Эмил.

– Мало кого. Витька, конечно, Булу встречал. А ты?

– Тоже Булу встречал. Наташку видел. Она замуж вышла. Жанку недавно встречал. Но с ней вообще не понял. Тоже, говорит, свадьба на днях. Я про тебя сразу подумал, а оказывается, за кого-то другого.

– За другого, – Арман посмотрел на проезжавший мимо грузовик.

– Что случилось-то между вами?

– Ты же знаешь ее характер...

– Нормальный вроде.

– Только кажется... Сам-то как? Как семейная жизнь?

– Да нормально. Дела какие-нибудь все время. Ни времени, ни денег ни на что не хватает. На эту самую семейную жизнь, – засмеялся Эмил.

– Слушай, кстати, денег хочешь?

– Сколько?

– Тысяч десять долларов.

– А как?

– Да вот, – Арман приоткрыл сумку, – ограбил вчера одну говенную контору. Тут всего тысяч сто. Возьми десять, – Арман протянул пачку Эмилю.

– Спасибо, – Эмил взял деньги. – А меня как соучастника не посадят? – вдруг спохватился он.

– Да нет. Я тебя не выдам.

– Ну тогда ладно. Спасибо.

– Пока. Жене привет, – Арман направился к железнодорожному вокзалу.

Татьяна Замировская

Бывшая. Жертва.

Ходила по кухне, развешивала белье. Лера подняла бровь, спросила, ответил: «Это моя бывшая». Целых людей к нашему тридцатнику не бывает, это понятно, у кого-то коты в подвале замурованы, у кого-то бабушка за стеной хохочет, а тут бывшая с влажным, слезливым бельем. Чего-то еще хочет, чего-то еще ходит, развешивает, сонно встряхивает, чье белье, он не знал: свое, наверное, воображаемое белье из той пьяной и цветной, как пунш, жизни, которую он отказался разделить. Говорит, наверное, мучается, вот и ходит, но сама же во всем виновата. Сама виновата, довольно бормотала Лера, когда бывшая копошилась в прихожей, пьяным кулем вваливаясь сквозь дверь напролом (и Лера отмечала с удовольствием: ни разу не спросила, откуда у нее, у бывшей, вообще ключ от квартиры, потому что, наверное, зачем ей ключ, ей достаточно подумать об этой квартире, чтобы оказаться здесь), и оседала по желтым ключьям обоев вниз; Лера просто перешагивала через нее, тихую, высохшую, как море, и шла ровными безразличными шагами в спальню — в спальне было весело, в спальне было хорошо, и колокольными шагами по занавесочной струне шла мышь, и хихикал трамвай за окном, а ты лежи в прихожей и молчи, когда взрослые о любви разговаривают, ты не взрослая, тебе ничего нельзя. Бывшая и правда была инфантил-инфантилом, иногда придет, сидит опять же в прихожей, крутит телефонный диск и цифры-то все три-три-три да три-три-три, обычно это же только дети выбирают три-три-три, обычно только у детей телефон выглядит как дисковый, взрослые туда зонты ставят, где у нее телефон, так она иногда сидит и крутит зонты. «Дарил ей зонт когда-то, — объяснял он, — вот, видимо, намекает!» Что он ей только ни дарил, думала Лера, как она его, а. Ловко облапошила! Два кольца подарил (а гвоздик посередине не вбил, мысленно хохочет Лера, так были бы ножницы, хоть какая-то польза, такими ножницами что угодно разрежешь, даже неожиданную смерть сердечную: раз-два, и беги по улице целенький новыми нож-

ками!), вообще фактически содержал ее, а она как Царь-пушка, в самом деле, выставочный сталелитейный экземпляр, нерушимая тяжесть небытия, сколько можно было, нашла бы работу какую-нибудь, не нашла, ну и вали. «Она меня совсем не ценила, понимаешь?» — говорил он Лере, когда она пыталась завести разговор о том, что бывшая уселась перед телевизором, смотрит какой-то сериал и плачет, и что это как-то, ну, печально, что ли. «Не ценила, вот и заслужила, что имеет!» — объяснял он и хватал Леру за плечо, и мышь снова начинала свой пеший пробег по звенящей струне, натянутой под потолком, и ну что, жалко электричества вам, жалко телевизора, пусть человек поплачет, хоть станет человеком через эти пустые слезы, а был дрянь дрянью.

Где-то через полгода Лера попробовала заговорить с бывшей, это когда бывшая вздумала магнитного варенья наварить: принесла откуда-то ведро магнитов (некоторые совсем старые, советские, оторванные от настольных игр каких-то), высыпала в Лерин таз (это Леру и удивило, обычно бывшая приходила со всем своим, ни к чему Лериному не прикасалась) и начала пересыпать магниты сахаром, да так обильно, что ну кто же так, кто же так варит магнитное варенье! Лера это сказала и даже осеклась: какое магнитное варенье, что я несу вообще, кажется, во всем этом что-то не так, что-то здесь не то, правда? Бывшая посмотрела на нее совсем детскими глазами, было заметно, что она очень удивлена видеть здесь Леру, кто ты, спросила она, что ты делаешь в моем доме. Лера тогда тоже, конечно, спросила, а ты сюда чего ходишь вообще, полгода уже ходишь и ходишь, успокойся, может, уже, взрослая же баба, неужели не стыдно, забудь и отпусти. Что отпусти, не поняла бывшая, ложку если отпустить, она примагнитится сразу же, поэтому это и самое сложное, тяжелое варенье, что обычно все туда упускают ложки. А деревянную ложку если взять, ехидно спросила Лера, уверенная в своем бытовом превосходстве. А деревянную нельзя, вкус другой будет, округлив глаза, ответила бывшая, а потом сказала Лере, уйди ты отсюда, а, смотреть на тебя тошно, особенно когда ты по вечерам в ванне лежишь вся изрезанная, такое стыдобище, ну не сложилось, так мало у кого вообще складывается, ты себе еще найдешь, но чтобы так вот внимание к себе привлекать, так это вообще, прости, финиш. Лера пошла было в спальню за разъяснениями, но спальни не было в этот раз, и она вспомнила, что, действительно, в те разы, когда спальни не было вообще, она ночевала в ванне, но вроде не грустила даже особо. Лера занервничала, заметалась, но бывшая из кухни крикнула ей, что сейчас вот варенье доварит и уйдет,

но тогда и Лере лучше уйти, потому что следующее варенье будет из нее, и Лера ей поверила, потому что чувствовала, как внутри у нее щекотно гремят магниты, наросшие за эти полгода. Поэтому они доварили варенье вместе, перелили его в трехлитровые банки и вышли из квартиры, даже до метро вместе дошли, но разговаривать было не о чем, и вообще, у Леры было очень плохое ощущение того, что это полгода они жили в квартире вдвоем: Лера и бывшая, и все, больше никого. Может, это была и вполне интересная жизнь, но теперь она закончилась, причем закончилась плохо — потому что теперь тишина, молчание.

Около метро Лера обняла бывшую и попрощалась с ней «навсегда». Бывшая тоже обняла Леру — неловким, широким шагом руки, будто боясь порезаться, будто Лера — разбитое зеркало. Лера тут же малодушно подумала, что вернется в эту квартиру за вещами, но столкнулась взглядом с бывшей и поняла: та тоже вернется в квартиру банки с вареньем забрать; вот ведь связь на всю жизнь, блядь, подумала Лера, наверное, это моя бывшая или, например, бывшая я. Но Леру спасли магниты, тошнотворно, будто мышка пробежала, дернувшиеся у нее в животе, когда под землей, в метро, что-то тяжело заворочалось гигантской массой железа: я жертва, вспомнила Лера, и уже никогда не забывала об этом, даже когда тосковала по той желтой кофточке, даже когда успокаивала себя тем, что у нее все равно нет ключа от квартиры, потому что жертва ведь всегда может просто так ввалиться сквозь дверь напролом, это главное правило: зачем ключ, если достаточно просто подумать.

Янтарные масла

Вова вынес Славу из огня, положил его на снег. Слава не дышал. Вова вылепил из снега небольшой комочек и положил его Славе на лицо. Комочек не растаял. Тогда Вова вылепил из снега еще два комочка, чтобы положить их Славе на глаза и тем самым закрыть для себя эпоху Славы на веки вечные — все, что их связывало, сгорело, как бумага, рухнуло, как этот дом за спиной прямо сейчас, да и какой смысл вспоминать, было ли что-то вообще: вот оно, все лежит перед Вовой на снегу, какое-то совершенно бесчеловечное.

Вова вздохнул. Попытался посадить Славу, прислонив его к деревцу. Слава был какой-то вялый. Вова достал из Славиного кармана мобильный телефон, набрал номер.

— Сегодня дом тоже сгорел, — выцветшим голосом сказал он, рисуя ногой узоры на снегу. — Но все не так страшно, как вчера, — я успел его вынести. Нет, не получилось, все равно он не дышит. Снег? Под снегом оставить? Хорошо. Завтра, может быть, успею. Не знаю. Мне казалось, я все рассчитал.

Вова залепил сидящего под деревом Славу снегом — получилась тугая ладная ледяная горка. Вова представил себя маленьким-маленьким, размером с гномика, будто бы он катается на миниатюрных серебряных саночках с этой горки, хохоча и плюясь хлебом и кетчупом (в детстве мама давала ему с собой бутерброд из хлеба и кетчупа, он вместо школы шел на Сафроновы Дачи кататься с горки вместе с дворовыми детьми, иногда они отнимали у него бутерброд, иногда — нет, бутерброд отнимала сама зима, ударяя мягким шлепком в солнечное сплетение на особо опасном трамплине).

Воспоминания детства не должны иметь ничего общего с этой работой, подумал Вова. Воспоминания детства, подумал Вова, не должны иметь ничего общего ни с чем вообще. Он закашлялся; пошла носом кровь. Поднялся, пошел из лесу прочь, загребая кроссовками снег. Такая работа.

Вова работал спасателем — он спасал Славу. Раньше он нырял за Славой в ледяную прорубь (работа подразумевала в том числе и подобного рода действия в холодное время года, его предупредили еще на собеседовании, но Вова пожал плечами и молча подписал контракт, тогда он вообще ни о чем не думал, только бы как можно дальше, только бы попасть как можно дальше), но сейчас немножко поменяли условия, и теперь Вова спасал Славу из огня. Как правило, в любом случае Славу он видел уже в состоянии беспомощности — то в виде мягкого, по-тү-

леньи ловко соскальзывающего в ледяную дыру тела, то под десятком горящих одеял в самой дальней комнате дома. Иногда Слава угрюмо дымился под кроватью (Зачем он? — думал Вова. — Прямо как та девочка в рассказе Толстого из букваря.), пару раз он оказывался в эпицентре взрыва (газовая плита?), и тогда Вова надевал специальный костюм, по-клоунски ловко впрыгивал в тугую от огня комнату, полную жара, черноты и опадающего хлопьями Славы, хватал оставшийся витой каркас и мчался с ним по лестнице — иногда вверх, иногда вниз. Вверху он выносил Славу на крышу, доставал из его кармана (карман не сгорал) мобильный телефон (телефон не сгорал) и звонил: снова развезть? Нет, тяжелый. Отнести назад? Нес распадающегося Славу назад, укладывал его в уже уютной, знакомой огненной кухне, терпеливо ждал полчаса-час, потом уносил Славу уже в виде довольно дряблой книги без переплета, страницы которой еще несколько часов тщательно развеивал с крыши. Страницы его жизни кружат над городом, думал Вова. Улетай, улетай, глупая Славина жизнь, навсегда от меня. Эпоха Славы заканчивалась, холодный ветер вырывал пропитанные копотью страницы из прорезиненных рук. Вова не мог плакать внутри своего пожарного костюма, но ощущение непоправимой конечности хрупких, околотлетных отношений его со Славой разрушало его изнутри — и каждый день боль была, в принципе, нестерпимой.

— Да, все нормально, работаю, вынес! — бодро рапортовал он в очередной прохладный мобильник, растирая снегом оранжевые волдыри на Славиных висках.

— Да нет, как обычно, мертвый! Как дитя малое! Не успел, разумеется! Я уверен, завтра получится!

Но завтра не получалось. Вова даже всерьез подумывал бросить работу, уехать в какой-нибудь лес и строчить там вечерами роман под названием «Завтра никогда не получится» (ему нравилось название), но зарплата была очень хорошей, тяжело было отказаться. К тому же, как он потом понял, ничего и не должно было получиться — работа состояла исключительно в спасании, но не в спасении, по сути ведь никто и никого не может спасти.

Зима заканчивалась, работа становилась все более и более скучной: горящий дом, пожар в библиотеке (интересно было только в первые два раза, потом Вова уже откровенно халтурил, даже проводил эксперименты: сколько, например, энциклопедических статей на букву «М» он успеет прочитать до момента полного, идеального прогорания Славы насквозь), шаровая молния в загородном домике, возмещение поезда «Франкфурт-На-Одере — Варшава-Всходняя» (что Слава

делал в том поезде, Вова так и не понял: он вообще ни разу не видел Славу живым, ничего не зная ни о его образе жизни, ни о его занятиях или увлечениях), дачный камин, дачный камин, дачный камин.

На одиннадцатом дачном камине, впрочем, что-то сдвинулось с мертвой точки — точнее, с нее сдвинулся сам Слава. Именно в этот день, очевидно, в силу привычки (сюжет «дачный камин» становился чересчур однообразным — приехать на дачу на тихой, первой утренней электричке, застать празднично догорающий дом, вбежать по рассыпающейся под ногами лестнице на чердак, обнаружить там Славу, спящего на диване в обнимку с гитарой, вынести его по другой, витой металлической лестнице, оставляющей ожоги на подошвах, положить на снег, сделать контрольный звонок, аккуратно залепить запекшиеся глаза снежками, иногда сделать снежную куклу и, например, помочиться на нее — но это не всегда обязательно), Вова явился на работу (здесь: дачный домик, ибо местом работы, согласно контракту, было расположение любого рода катастрофы, подразумевающей Славу в своем эпицентре) на сорок минут раньше — слишком быстрый шаг, сократил путь через лес, не пользовался картой.

Вова вынес Славу из огня, положил его на снег. Слава не дышал, но немножко хрипел грудью и животом. Вова положил на Славу грудь ладонь и нажал несколько раз. Зазвонил телефон. Вова зажмурился, разжал Славины челюсти, вдохнул в Славу что-то из своих личных опасений — до предела, чтобы ощутить эластичное сопротивление черноватых Славиных легких. Слава закашлялся, сел на снег, зачерпнул его рукой, начал жевать. Потом его стошнило снегом на снег. Телефон не прекращал звонить. У Славы было бледное, тонкое лицо с нарочитой, старательной щетиной, мокрые волосы прилипли к вискам, шея его то раздувалась, как капюшон, то исчезала вовсе — и между головой и плечами можно было разглядеть утреннюю полоску туманного, почти мартовского, леса.

— Какого черта? — спросил Вова. Телефон звонил уже какой-то другой мелодией — кажется, вначале это был Вивальди, теперь это был Стравинский, «Весна священная».

Слава посмотрел на него с благодарностью, его снова вырвало — теперь уже не снегом, а чем-то коричневатым.

Телефон взялся за классику двадцатого века — Шнитке, Шенберг, Шостакович. Видимо, звонил кто-то на букву «Ш».

Вова брезгливо опрокинул Славу на снег, вынул из его кармана мобильник:

– Шеф? Тут непредвиденная ситуация какая-то. Похоже, я его спас. Что мне делать дальше? Ну да, плоховато. Кашляет, угу. Тошнит, rozumеется, а как же еще? Нет, не желтое пока что. В смысле? Это как – уволен, то есть уже совсем? Ну да, то есть да. Контракт – что?

Оказалось, что раз Слава наконец-то оказался спасен, в Вовиной работе больше нет смысла: она выполнена полностью. Вове выразили благодарность, пообещали начислить премию, еще попросили немножко прибраться в лесу, забросать снегом там, где Слава напакостил.

Он довел спотыкающегося и полубеспамятного Славу до дома, бросил его на пороге и ушел на станцию.

Первое время не мог поверить – каждое утро приезжал туда, но нет – дом не горел, Слава мирно спал, иногда не один: приводил друзей, подруг, устраивал вечеринки какие-то. Пару раз даже входил в тихий сонный дом, расталкивал его, приподнимал за костлявые плечи, говорил сбивчиво: проснись, ведь это я тебя спас, когда дом твой горел, а ты совсем один, всеми брошенный, спал на чердаке, помнишь? Слава просыпался, бубнил: нет, не помню, дом никогда не горел, ты что, все в порядке, что за ерунда, а на чердаке я никогда в жизни не спал, не имею такой привычки, а ты кто вообще такой?

– Никто, теперь никто, – грустно бубнил Вова, отпускал Славины плечи (тот с возмущенным лепетом падал затылком в подушку), поправлял сбившееся одеяло, иногда гладил его смешные, чуть мокроватые волосы.

Вова был уверен, что когда-нибудь найдет в себе достаточно сил для того, чтобы перестать туда ездить, как-то распрощаться с этим всем навсегда с такой же парадоксальной болью и легкостью, с которой раньше делал это каждый день. В конце концов, иногда говорил он себе, ведь именно на этой работе я получил достаточно денег, чтобы до конца жизни жить в свое удовольствие и заниматься какой-нибудь ерундой.

Увы, теперь он отчетливо понимал, какой именно ерундой он будет заниматься.

Петр Ореховский

Роза ветров

из цикла «Подробности гражданской войны»

Богатые люди любят природу сильнее бедных и гнездятся в красивых сосновых ландшафтах недалеко от воды. Они строят большие одноэтажные дома, называют их коттеджами и тратят на дорогу в город от своего жилища почти час ездового времени. Перемещаются они либо на чем-то таком низко стелющемся, пригибающемся к самой дороге, как маленькая танкетка, либо на чем-то таком сильно возвышающемся над асфальтом, похожем на танк старой модели, имеющем суммарные очертания кирпича и поставленной на него половинки. Они сильно рискуют, развивая большую скорость, поскольку качество дорог, по которым они перемещаются, никак не соотносится с качеством их автомобилей, но богатый человек в России — рискованный человек. Им, конечно, ничего не стоило бы исправить дороги, потратив на это небольшие деньги из своих доходов, но гораздо интереснее объезжать ямы, сталкиваясь с другими автомобилями и заряжаясь приятными эмоциями. Этого, конечно же, абсолютно невозможно понять ограниченным западным людям, над несообразительностью которых так любят потешаться российские сатирики.

Борис Хитров, бывший ракетчик и нынешний областной чиновник, ехал отдохнуть на природе. То есть его везли, потому что сам он не относился к богатым людям. Намерения были что ни на есть самые простые: сготовить шашлык, выпить, посидеть у костра, погулять по лесу. Он дремал, откинувшись на заднем сиденье красивого автомобиля. Несмотря на усиленную подвеску, периодически их подбрасывало, но закаленный командировочными поездками по региону Хитров не прерывал дремоты, амортизируя теменем и локтями.

Мимо расстилались поля и рощи, обретшие новых рачительных хозяев, напоминая о сказке про кота в сапогах. Впрочем, богатым людям редко нужны сельхозугодья, за которые так переживали красные помещики из числа аграрного лобби. Человек, который много имеет, в

России очень устает, потому что ему приходится много работать, изобретать, строить, создавать. Все это происходит в кабинетах, где отсутствует солнце, от мерного гудения кондиционера трещит голова, на разные лады надрываются многочисленные телефоны, наконец, издавая неприличный звук страдающего запором человека, время от времени включается факс. Бедные счастливые люди этого не понимают: они гуляют по городу, приобретая здоровый румянец в городских парках, играют в боулинге, пьют пиво в итальянских пиццериях и угощают мороженым своих детей в кафе эмигрировавшего из Петербурга усталого богатого русского еврея Баскин-Роббинс. Поэтому богатые люди приобретают несколько гектаров леса, чтобы наконец побыть одним, вдали от дел, и хотя бы чуть-чуть набраться здоровья, чтобы продолжать нести свое тяжкое бремя по обеспечению деньгами и работой счастливых бедных российских граждан.

Машина съехала с общественной трассы и пошла по неожиданно хорошей, хотя и узкой дороге. Отдыхающие въезжали на садовый участок одного из отобранных отечественной политико-экономической селекцией выдающегося представителя капиталистического труда.

— Здесь замечательная природа, — рассказывал проснувшемуся от прекратившейся тряски Хитрову хозяин автомобиля, элитный капиталист Голубев. — Спасибо тебе большое, что помог оформить участок.

— Природа — это, конечно, хорошо, — пробурчал Хитров. — А соседи кто?

— Хорошие ребята, даже в гости друг к другу ходим, раза два-три в год. Слева — Красных, справа — Белых, а вот в другую сторону, встык со мной — Черныш. У него на участке пруд оказался, правда, без рыбы. У нас-то участки по реке, но мы часто к нему ходим купаться: у него еще весь август и половину сентября вода теплая.

— А что, бассейны с подогревом еще не построили?

— Побойтесь Бога, Борис Михайлович, всего полтора года как осваиваемся, еще не во всех комнатах нормальный интерьер сделали!

— Сауна хотя бы есть?

— Это конечно, все как положено. И дизель собственный у каждого, так что все по уму.

Был вечер пятницы. Шашлыки ожидали гостей. Мангал был поставлен на улице так, чтобы не дымило на дом, жилую площадь которого Хитров оценил метров в шестьсот. «Да уж, интерьеры тут — заоформляешься. Можно костюмированные балы устраивать», — подумал он, располагаясь в комнате для гостей.

Переодевшись, он спустился в сауну, посидев там, принял душ, поднялся, опять переоделся и вышел в столовую, как раз к накрытому столу. Детей уже покормили и отправили заниматься своими делами. Голубев, Хитров и еще один гость Голубева, банкир Рабинович, сели к столу. Мясо, овощи и красное чилийское вино были выше всяких похвал. Поели, неспешно поговорили о литературе, живописи и социальной ответственности бизнеса (и Рабинович, и Голубев спонсировали массу культурных городских мероприятий) и в двадцать три часа разошлись спать.

Хитров проснулся по служебной привычке рано, но когда он спустился в столовую, оказалось, что все уже на ногах. Деловой мир требует жесткого распорядка, и, не сговариваясь, они втроем уже пили кофе. Потом Хитров и Рабинович отправились гулять, а Голубев пошел позаниматься с детьми и поставить греться сауну: было решено, что в этот раз они напарятся как следует, потом уже хорошо поедят и выпьют, а к вечеру шофер Голубева отвезет их в город.

Хитров был плохо знаком с Рабиновичем, поэтому первое, чем они занялись, это стали искать общих знакомых. Искать пришлось недолго: Рабинович хорошо знал брата Бориса Хитрова, который с недавних пор руководил комитетом по финансам в областной администрации.

— Ваш брат — мудрый человек, — банкир обрадовался возможности сказать комплимент родственнику собеседника, сделав тому приятное, — таких редко встречаешь.

Борис несколько ревниво относился к своему брату, вдобавок по русскому обычаю не любил, когда в ходе разговора хвалили не его, а его знакомого. Поэтому он несколько холодно заметил:

— Умный — может быть. Но — мудрый? Ему всего сорок лет. В такие годы человек еще не может быть мудр.

— Возраст здесь, мне кажется, ни при чем...

— Тогда что вы имеете в виду?

— Видите ли, ваш брат обладает искусством брать у людей деньги, не унижаясь, и платить, не унижая. Это я считаю мудростью.

Хитров вежливо согласился, поняв, что после такой характеристики говорить о брате свысока с его стороны было бы уже очевидной глупостью. Дальше они мало разговаривали, вдобавок тропа стала подниматься в гору.

Они шли по смешанному лесу. Была уже середина мая, припекало солнце, и стояла редкая для леса настоженная тишина. Иногда слы-

шалось карканье ворон, но веселого щебетания птичек-невеличек, дробей желны или, тем более, утиногo кряка до них не доносилось.

— Поди, скоро комары вылетят, несладко здесь Голубеву придется, — чтобы поддержать разговор, сказал Хитров.

— Нет здесь комаров, не то что у нас в городе, — возразил Рабинович. — Даже удивительно. То есть, конечно, они есть, но в очень даже небольших, можно сказать, приемлемых количествах — я как-то был здесь у приятелей в гостях в конце июня, в самый комариный сезон. Так почти и не искушали.

— А в городе у вас что за комариное такое место?

— Да вот соблазнился, понимаете, предложением, построили хороший дом недалеко от моста, почти рядом с набережной. Но не учли розу ветров.

— То есть как это? — заинтриговался бывший ракетчик.

— А так это, что с двух сторон из четырех, когда дуют ветры, на наш дом идут заводские газообразные выбросы. Иногда, поверите ли, просто дышать нечем.

— Это еще ничего, — утешил его Хитров. — Я вот в советские времена был в Кемерове, там еще тогда в центре города построили сливочный дом. Знаете, категории «дворянское гнездо». И все сделали правильно, просто само Кемерово расположено в котловине, так что с какой стороны ни подует, все равно воняет, не то что у нас. Большая химия, очень большая.

— Само собой, бывает и хуже, — оптимистично заметил Рабинович. — Однако вот объясните мне — там химия и тучи комаров. А здесь природа и их очень мало. Я даже задумался тоже о том, чтобы здесь построиться, но пока денег не хватает, чтобы землю купить.

— Да, земля здесь дорогая, — важно подытожил их эколого-экономические наблюдения Хитров.

Они забрались на холм, куда их привела утоптанная тропинка. Холм, однако, оказался не холмом, а высоким речным откосом, резко обрывающимся вниз к берегу. Кроме того, с другой стороны холма, почти противоположной той, с которой они пришли, сползала бетонная дорога. Внизу на речном берегу, да и вдоль дороги виднелись полуразрушенные останки каких-то инженерных сооружений.

— Вот ведь, только вид портят, — заметил Рабинович. — По-моему, это остатки причала.

— Может быть, — нехотя пробурчал Хитров.

С холма открывались прекрасные виды. Внизу блестела на солнце река; вода в ней казалась то синей, то зеленой и пускала зайчики в глаза

смотревшему. Противоположный низкий берег был покрыт уже высокой травой, среди которой выделялись прошлогодние бархатные верхушки камыша. Еще дальше подметал землю серебристый ивняк, над которым время от времени взлетали речные чайки. За ивняком виднелись непаханные и тоже зеленые поля, которые переходили в березово-тополиные рощи, среди которых виднелось несколько домов, обозначавших старый пионерский, а ныне современный то ли спортивный, то ли скаутский лагерь. Легко было представить, как в конце июня картина дополняется счастливым гомоном и бегом приехавших укреплять слабое городское здоровье различных хоккейных, боксерских и прочих городских детских сборных.

Обернувшись назад, можно было увидеть светлую зелень березы и ольхи, темные кроны елей, светло-коричневые стволы и сочные кроны сосен. В то же время лес смотрелся не сплошным зеленым морем, но большими клочьями, разбросанными по одеялу земли. И даже в этих клочьях виднелись желтые участки погибших деревьев; ленивые лесники, видимо, не осуществляли положенные рубки ухода. Желтизна располагалась совершенно случайным образом, что придавало цветовой гамме леса дополнительную живописность.

— Смотрите, скопа, — сказал вдруг Хитров.

Над рекой, недалеко от их холма, описывал круги пернатый хищник.

— Говорят, их выпустили на зараженную рыбу охотиться, — ответил Рабинович. — Но если он сюда добрался, значит, здесь тоже для него пища есть. Это как-то даже радует.

— В общем, да... — задумчиво сказал Хитров, и они стали спускаться с холма, возвращаясь к прогретой сауне и заждавшемуся Голубеву.

На обратном пути они почти не разговаривали. Оба вдруг заметили, что потратили довольно времени на прогулку, вдобавок поднялся ветерок, принесший откуда-то с лесных полей запах прели и пыли. В результате они с радостью залезли в сауну, где Хитров сразу же стал обильно потеть. Спортивно выглядевший Голубев посмотрел на Хитрова одобрительно, отметил, что ему надо почаще париться, что это очень оздоравливает; Рабинович сказал, что дело хорошее, да вот некогда, а Голубев ответил, что если человек чего-то хочет, то он всегда найдет для этого время.

Как водится, сухой пар им скоро надоел, и на каменку полетело пиво. С Хитрова лило ручьями, и он часть пива употребил внутрь. Рабинович стал париться с помощью веника, потом его сменил Хитров, потом Голубев... Наконец они сделали первый перерыв, чтобы сте-

пенно поговорить в предбаннике за накрытым холодными закусками столом.

— Как вы относитесь к бане с девчонками? — спросил знакомых Голубев.

— Я — только за, — ответил Рабинович.

— Я — нейтрально, — сказал Хитров. — По-моему, мухи отдельно, суп отдельно. Лучше попариться, а потом можно и к девушкам.

— Вот-вот, я тоже так к этому относился, — сказал Голубев. — Теперь вот замечаю: раз в парную сходишь, другой... потом сажусь, бывает, и думаю — да что же это я?.. такой грязный, что ли?.. А с девчонками как-то и при деле, и опять-таки повод снова помыться возникает.

— Так кто у нас хозяин? — заметил развеселившийся Рабинович. — Или это мы к тебе домой девушек должны были подвезти?

— Да нет, я не к тому... сейчас-то и поговорить можно. А так, когда парная дома, уже начинаешь относиться к этому не как к процессу, а как к действию. Так, словно накоротке душ принял. Баня же все-таки требует отдохновения и включения.

Все коротко и легко задумались, переваривая сказанное. И в целом согласились с мыслью хозяина. И Голубеву было приятно.

Они допарились, домылись, отдохнули, переоделись, пообедали... Потом еще посидели перед домом в шезлонгах, Голубев и Рабинович выкурили по сигаре. Хитров смотрел в голубое высокое небо и дремал, не думая ни о чем. Они прекрасно отдохнули. А потом шофер отвез их домой, вечер субботы каждый проводил в кругу семьи.

И наступила рабочая неделя, суета, дым от раскалившихся телефонов и прочей конторской оргтехники... И неделя прошла, оставив после себя еще один маленький шаг страны к торжеству справедливости в мире, успокоению сырых и бездомных, укреплению престижа России на мировой арене и прочие столь же важные и нужные свершения, как положено отраженные и зафиксированные стоящими на страже свободы и демократии отечественными и зарубежными СМИ.

Хитров зашел к брату, несколько панибратски уселся на край его рабочего стола и сказал, прищурив левый глаз:

— А не выпить ли нам пива, брателло?

— У меня тут еще пара смет лежит, — поморщился Сергей Хитров. — Не хочется на понедельник оставлять...

— Я вот в прошлую пятницу к Голубеву ездил. Между прочим, с Рабиновичем познакомился. О тебе говорили. Интересно?

— Интересно, — сказал Хитров-младший.

— Тогда пойдем пива выпьем.

Так вот и соблазнил, оторвав от дел государственной важности и отсрочив тем самым неизбежное нервное и физическое истощение. И правильно сделал, поскольку всех надо беречь, но братьев своих — в первую очередь. И рассказал Борис Сергею о комплименте Рабиновича, сделав ему приятное. И расслабились братья, и разговор принял неспешный философский характер.

— Неподалеку от того места, где они свои имения получили, вообще то был испытательный стенд для ракетных двигателей, — сказал вдруг Борис Хитров. — Удобно, грузили на баржи, доставляли до причала, перегружали на тягачи, поднимали вверх. Теперь там ничего не осталось, дорога разве что...

— То есть ты бывал в тех краях раньше?

— Бывал, бывал... Красивые места. У нашего завода там даже дом отдыха был неподалеку. Пошли как-то на лыжах, устали, пить очень хотелось, а снег такой белый-белый, красота...

— И что? — подтолкнул задумавшегося старшего брата Сергей.

— Да, несмотря на все мои предупреждения, что в снегу там черт-те что может быть, спутнички мои снежку поели. Один уже через год умер от рака, у другого от желудка одна четверть осталась. Полный инвалид.

— Что же там могло быть, в снегу?

— Так ведь ракетные топлива разные при испытаниях сжигали, и гептил тот же... а потом все это оседало кругом. Но как оно оседало и распределялось по местности, никто же не знает. Я вот там тогда же по дуруости неподалеку плавал летом — и ничего. Хорошо, понимаешь, никаких комаров — все передохли.

— Вместе с птицами, надо полагать?

— Птицы-то не дуры, они от такого грохота сразу же улетели подалее. Зато сейчас вот возвращаются, я скопу видел. Значит, все нормально.

— Так ты, получается, на наших миллионерах эксперимент ставишь? Выживут — не выживут? — рассмеялся Сергей Хитров.

— А что такого, место красивое, снег зимой, надо полагать, они не едят. Потом, кто знает, может уже разложилось все давно. И вообще, чего ты смеешься? Вон при коммунистах на противоположном берегу там пионерлагерь был, и ничего. До сих пор детей возят отдыхать. Красивые места. Весь вопрос — в розе ветров... Я по старой памяти кое с кем переговорил, целевое назначение земель переоформили, еще и бюджет на этом заработал, так что ты должен быть доволен...

И братья улынулись друг другу.

— Хорошая история, — сказал Сергей Хитров. — Жаль, рассказать никому нельзя.

— Разве что своему брату, — сказал Борис Хитров.

— Это точно, — ответил Сергей. — Знаешь, а ведь есть в этом что-то высшее, правильное...

— Так я и говорю. А ты не хотел пойти со мной пива выпить? Пятница, вечер, что еще может быть лучше?

И они разошлись по домам. Сергей шел, задумавшись о гармонии природы и человечества, и мысли ему по большей части приходили приятные. А еще оттого ему было приятно, что не чувствовал он никакой классовой солидарности с людьми, подвергавшимися потенциальной опасности, ибо потенциальной опасности в России подвергаются все. Это скрепляет общество и элиту и лишает всех плохого чувства зависти, порождая одну только радость, что ты еще жив и здоров, поскольку ведь завтра этого уже может и не быть.

А Борис возвращался домой в хорошем настроении, потому что наконец поделился с кем-то своей историей и его поняли. Он чувствовал легкий приятный хмель после трех кружек пива и мурлыкал про себя старую песенку:

Светилась, падая, ракета,
А от нее бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это,
Тот хрен в ракетчики пойдет.

Улья Нова

Фиолетовая листва

Один человек упал лицом в грязь, был уличен в растрате государственных средств, отстранен от дел и уволен со всех постов. Сердце не выдержало. Жена похоронила его с должными почестями, как-никак в молодости он был подающим большие надежды архитектором.

Попав в мир нездешний, человек был искренне тронут тем, что все еще существуют его размытое сознание, расплывчатая душа. Но оказалось, мир нездешний — бескрайнее зловонное болото, жабьей кожей темнеющее под дождливым подобием неба, горьким и мрачным, словно кто-то закрасил его смесью бетона и горчицы. Человек плакал, а трясина потихоньку засасывала его. Он мог бы утонуть вторично, смирившись с вечной чередой падений в грязь и умираний. Но вместо этого он изгнал смятение из души, встряхнулся, да так, что присевший отдохнуть и погреться в его шевелюре призрак мухи наверняка получил пожизненный или посмертный (тут путаница понятий) нервный тик. Потом человек, кряхтя, выполз из топи и принялся горевать. Он сидел на кочке болота, обняв колени, и задавался вопросом: попал сюда, сможет ли жена смириться с тем, что больше никогда не увидит маленький городок, где родилась, росла и прожила всю жизнь. Там узкие улочки с низкими домами цвета ирисок, окутанные ароматами лимона и карамели. Там полосатые навесы кафе. Во дворах слышатся смешки, ворчание стариков, песни котов, удары нардов. Белые простыни аккуратными рядами сушатся на ветру. Солнце просвечивает насквозь детские ладошки кленов, растущих вдоль тротуаров. Сможет ли она смириться с тем, что больше никогда не увидит загородный дом, где шуршащие циновки, кружевные скатерти и расшитые наволочки на маленьких упругих подушечках? Будет ли она достаточно сильной, чтобы пережить вечную разлуку с пекинесом, с клумбами тигровых лилий и старыми качелями, что поскрипывают в саду между грушей и вековой ивой?

Пока он предавался печали, ненасытная жижа втянула его по пояс, пришлось опять выбираться, кое-как распахивая волокнистые глинистые топи болота.

В безвременье человек бесконечно бродил по сумрачной пустыне, это было не таким легким делом: кое-где голодная трясина норовила заполучить странника в свои смрадные глубины. Но наш герой не боялся утонуть, не беспокоился за себя, не трусил и не паниковал, взгляд его сновал до горизонта и обратно, сосредоточенные поиски занимали его и берегли от всех опасностей мира нездешнего. И вот наконец однажды ему удалось найти хрупкое полумертвое деревце с сухой фиолетовой листвой. Какой была листва там, откуда он родом, человек не смог припомнить, как ни старался. Цвет листьев липы или груши в их саду начисто ускользнул из его памяти — вот следствие невнимания к мелочам, рассеянности и вечных неотложных дел, которые всю жизнь занимали его, отвлекая от чего-то неуловимого и по-настоящему важного. Но делать было нечего, он целую вечность трудился, представляя, какими должны быть сваи, чтобы удерживать город на поверхности болота. Он старательно представлял, вспоминал, выдумывал эти сваи, и от его упорства они возникли. Потом он долго вгонял их в бурлящие, страшные топи, пока не набил достаточно колов в мягкий скользкий живот болота, а после создал на них плотный настил. Он так долго выдумывал, представлял, мечтал об этом настиле, был так невыносимо упрям, что настил в итоге возник и покрыл обширный участок болота тремя слоями дерева. В стороне он растил хрупкие кустики, отростки которых выудил из своих рассыпающихся в пыль воспоминаний. Изнывая от жажды и холода, с особой заботой он выхаживал черенки полумертвого деревца с фиолетовой листвой. На прожорливой зловонной тине деревца развивались медленно, словно исподтишка разворачивая клейкие, прозрачные листочки.

Опечаленный, он больше не берег себя, до семи потов концентрировал воображение, выжимая из души уютный голландский домик, новенький мраморный фонтан, усыпанные гравием дорожки, аккуратный газон, рябины, черешни, яблони. Раз уж не вспомнить, какая у них там листва, пусть она будет фиолетовой. Так на месте болота появились дом и сад. Но человек не унимался, все частички его существа болели и трещали, словно вот-вот разорвутся. Он вспоминал, преодолевая отчаянье, до мельчайших подробностей восстанавливая в памяти камин и то, что стояло на черной мраморной полке. Он восстанавливал каждую завитушку старинных часов, то, как пела кукушка, стрелки и маятник, хотя здесь время было мертво и в стрелках не было

совершенно никакой надобности. Постепенно он выдал из себя столовую с плетеными стульями, овальный стол из стекла и дерева, а на столе припомнил корзину с фруктами и вазу с ландышами. Затем, будто утомленный фокусник, он все же извлек из себя веранду, половина окон которой — витражи, создающие цветную мозаику на белом вязаном пледе, что небрежно накинут на диван. Он так увлекся, что уже не чувствовал истощения и боли. Восстановил все, до умывальника, до кафеля в ванной, и не заметил, как от всех своих мук окончательно превратился в тень. Невесомый и прозрачный, он скользил по дому, придирчиво осматривал каждый уголок, каждое пятнышко, проверяя, все ли на месте, все ли как там. Поправлял накидки на креслах, смахивал пылинки. И ждал.

Когда женщина вошла в мир нездешний, она очутилась в знакомом саду, где деревья шумели фиолетовой листвой, их было так много, что казалось, небо тоже нежно-фиолетовое и приятно прохладное. Под ногами женщины шуршал бархатный ковер трав и цветов, а в мраморном фонтане искрилась прозрачная дождевая вода. По гравию дорожки женщина направилась к дому. Такому же, как тот, в котором она совсем недавно, сидя старушка, жила. И по которому, ослабев, еще неделю назад передвигалась на купленных сыном ходунках.

Вокруг дома оказался такой же цветник с тигровыми лилиями, а внутри была веранда и диван с расшитыми подушками и знакомым шерстяным пледом. Вот только в столовой, за круглым семейным столом, темнело что-то тревожное, как серая клякса на старой фотографии, как тень, которая отделилась от обладателя и легла произвольно — вертикально на плетеный стул, возле окна. Женщина встревожилась, содержание и волна холода пробежали по ее душе. Она заключила, что тень — это недобрый осадок прожитой жизни, то самое наказание, которого не избежать. Или воспоминания, они ведь и здесь не дадут ей покоя, а будут терзать и вечно загораживать свет серой тусклой лентой тени.

Неизвестно, сколько, ведь время там не властно и бессмысленно, женщина и тень жили под одной крышей. Сидели и читали газеты на разных концах дивана. Спали валетом на железной кровати, пружины которой скрипели даже громче, чем дома. Все чаще и чаще женщина начинала беспокоиться, по ночам она беззвучно плакала, ей хотелось побыть одной, пройти по тенистым дорожкам под фиолетовым небом, забыться в беседке, увитой плющом и диким виноградом. Но тень везде следовала за женщиной по пятам, маячила за спиной, таилась не-

подалеку от пруда, мелькала между мшистыми стволами деревьев в саду. Темнела в углу кухни, наблюдая, как женщина готовит.

Женщина старалась обмануть тень, пряталась в уголке спальни за прабабушкиным креслом, пахнущим в точности как дома: тремя поколениями кошек, гвоздичным маслом и перхотью. Иногда женщина, улучив мгновение, юркала в старый дубовый шифоньер и, затаив дыхание, сжималась там, боясь пошевелиться. Тогда, обезумев от тоски, тень металась по дому. И все, где бы тень ни пробегала, становилось пасмурным и хмурым. Темнели цветы, деревья пугливо шумели. И мрамор фонтана покрывался серым налетом, а вода становилась стальной и холодной.

Женщина могла бесконечно сидеть, притаившись в глубине шифоньера, вдыхая вековую пыль старых платьев и забытых угольных утюгов. Она дрожала и плакала, ей было холодно, точь-в-точь как много лет назад, в день свадьбы. Родители выдавали ее замуж за молодого архитектора, которого она видела один-единственный раз, на вокзале. Он показался ей плотным и пружинистым, упитанным, как молодой бычок. Ее отец и брат шумно суетились вокруг будущего зятя, он как раз сошел с поезда, вырвался из большого города, сбежал от богатой пожилой покровительницы в провинцию. Она стояла в стороне, под вокзальными часами, не решаясь подойти поздороваться, с первого взгляда почувствовав оскомину прошлого и прояснив, что полюбить этого человека не сможет никогда. Перед самой свадьбой она залезла в старый шифоньер, ее долго и суматошно искали, но под конец все же нашли. И как тогда, давным-давно, дверца с тихим скрипом всегда приоткрывалась. Тень возникала перед глазами и робко маячила, наблюдая за женщиной и втайне любясь ею.

Однажды женщина не выдержала и обратилась к тени: «Не знаю, кто ты. И знать не хочу. Я устала. Убирайся подобру-поздорову, не желаю больше терпеть, как ты маячишь у меня за спиной. Это ты виновата, что мне тревожно, что я не могу найти покоя», — сорвалась, раскричалась, и визгливые обрывки ее воплей метались по дому, проникая в сырые уголки подвала и под сваи, в болотистую жижу мира недешнего.

Вместо ответа тень серой капроновой лентой повисла в воздухе позади мягкой кушетки, в тенистой гостиной, куда не суждено было прийти больше ни одному гостю. Там тень замерла на ночь. И утром все ожидала чего-то. Но женщина снова сорвалась, прикрикнула и метнула в тень расческой: «Убирайся, ты действуешь мне на нервы. Пропади пропадом, оставь меня».

Тогда тень направилась к выходу. Она степенно струилась, оставляя позади подоконники с геранью, библиотеку со старинными книгами, страницы которых пожелтели, обтрепались и покрылись жирными пятнами, слезами и отпечатками пальцев. Тень неслышно выскользнула из столовой, пролетела веранду, витражные стекла которой искрились. Потемневшая, тень скользила прочь, будто желая поскорей освободиться от давящих стен дома, который и здесь оказался слишком тесен для двоих.

Женщина на диване гордо расплавила плечи и, торжествуя, аккуратно расчесывала щеткой пышные золотисто-каштановые локоны. Долго-долго она так и сидела, одна, радуясь, что избавилась от давящих воспоминаний, от наказаний и мук, в затихшем, пустынном доме. Потом вдруг голубая ваза сама собой упала на пол со столика. Вслед за вазой спичечный коробок скользнул с каминной полки и медленно полетел из комнаты. Скатерть и две легкие подушки пустились следом, словно какой-то неведомый сквозняк увлекал их.

Женщины вскочила и выбежала на террасу. К ее ужасу кружевные скатерти, старые пыльные пальто, утюги, салфетки на глазах уносились из дома. Вот, скрипя и шатаясь, царапнул пол диван, а затем, как большая неуклюжая телега, неповоротливо тронулся в путь. Женщина вцепилась в мягкие подлокотники, прорычала «не пушу», — но это было бесполезно. Она упала, а диван унесся из дома, вслед за ним плыл шкаф, маленькая электрическая пианола, легкие мотыльки тюлевых занавесок, зеркала. Фотографии в рамочках одна за другой срывались со стен. Потом, скрипя, с места тронулась железная кровать, кубарем, ломая ножки, покатился обеденный стол. Плетеные стульчики и два кресла неслись все быстрее и быстрее вон из дома.

Женщина металась, стараясь остановить хотя бы тумбочку, набитую пудрой и духами. Хотя бы стеклянный журнальный столик, хоть пепельницу-раковину, утяжеленную большим камнем с морского берега. Но куда там, уже с оглушительным треском вылущивались из стен оконные рамы, со звоном лопались стекла, осыпая все вокруг фальшивыми бриллиантами брызг. Массивный камин из черного мрамора, царапая паркет, медленно скользил прочь. Женщина старалась увернуться, а портьеры, портреты, тумбочки, ковры, зубные щетки, губки, кафельные плитки ванной летели вихрем, словно огромный пылесос засасывал их в свое темное нутро.

Пару раз женщина все же попала под обстрел мелких разноцветных стеклышек витража, осколков кафельной плитки, паркетин. Она уро-

нила израненные руки и подошла к пустому проему окна, что зиял на голой стене, с которой уже сорвало обои и штукатурку. Она подошла к квадратной прорехе в стене, погруженная в раздумья, стараясь отвлечься и укрыться от урагана вещей, покидающих дом. Выглянув наружу, женщина отпрянула, увидев топкое болото на месте тенистого сада. И горчичное небо там, где совсем недавно шумела фиолетовая листва. Ни дорожек, ни стриженных кустов боярышника, ни раскиданных в беспорядке рябин и черешен. Ни альпийских горок с задумчивыми серыми глыбами камней, ни клуб тигровых лилий. Вместо этого в прорехе цементной стены до горизонта простиралось бескрайнее топкое болото, бурля, чавкая и выпуская зловонные газы.

Сквозняк превратился в настоящий ураган. Крышу унесло. Большая женщина ничего не могла различить, потому что пыль, куски штукатурки и цемента сыпались на нее со всех сторон. Она присела, зажмурилась, заслонила уши ладонями, чтобы не слышать нарастающий скрежет и треск.

Наконец все вокруг окутала хлипкая ноющая тишина. Женщина осторожно протерла лицо и открыла глаза. Она лежала, поглощаемая илистой топью. Силы покидали ее, она все же попыталась встать, хлопая по колену в грязь. Ничего не осталось от сада: ни деревца, ни чахлого кустика, ни былинки, — все унеслось. И только густое илстое болото бурлило вокруг.

Но там, на горизонте, очень далеко, что это?

Женщина присмотрелась. Там, далеко-далеко, действительно шел кто-то прозрачный, серый как тень, а за ним тянулся длинный пестрый шлейф. Прищурившись, женщина увидела, что этот шлейф дивно расшит. Целая аллея деревьев с прохладной фиолетовой листвой украшала подол, дальше в беспорядке были вытканы небольшой голландский домик, беседка, увитая диким виноградом, гостиная с камином, спальня с мягкой периной на железной кровати, веранда с витражными стеклами, а на веранде — диван с мягкими подушками и вязаным пледом...

Тень удалялась, становясь все меньше. И вскоре стала неразличима вышивка шлейфа. Разнородные пятна становились квадратиками мозаики. Женщина снова прищурилась и ясно различила в отдаленном пятне лицо мужа. Она вскрикнула от неожиданности, что было сил позвала его, вцепилась в волосы, но было уже поздно — горизонт скрыл странника, догонять было бессмысленно. А горчичное небо нахмурилось, приготовилось напомнить, что оно все-таки небо, и разразилось затяжным осенним ливнем над миром нездешним.

Посвящение

В назначенный день они отведут на высокий скалистый утес, возвышающийся над морем. Если подойти к самому краю и осторожно заглянуть вниз, где-то далеко-далеко, у подножья скалы видны огромные черные валуны и барашки волн. Бросить туда камешек, и только секунд через пять внизу послышится похожее на стук. Или не послышится вовсе из-за крика чаек, шума прибоя, стрекота саранчи и многих других диких, не испорченных человечеством звуков. Но желающему пройти посвящение не дают времени любоваться красотой природы и вслушиваться в ее голоса. Несколько человек уже усердно связывают его ноги концом шершавой, ворсистой лианы. Скаля зубы, ругаясь и рыча, они бодро затягивают узлы. Один, потом второй. На всякий случай еще и третий. Другой конец лианы крепко держат в руках несколько человек из племени. Они стоят рядом и готовы с минуты на минуту начать обряд. Как правило, это закадычные друзья, старшие братья, соседи посвящаемого и всякие сочувствующие прохожие, которым не безразлична судьба соплеменника. Вокруг крутятся голенькие любопытные мальчишки, костлявые, юркие, угловатые, с оттопыренными от глистов животами. Они дергают за лиану, улюлюкают, корчат рожи и получают за это от окружающих добродушные зуботычины.

Связанного подводят к самому краю утеса и оставляют одного на ветру. Главный шаман племени, коренастый взьерошенный человек в набедренной повязке из листьев пальмы, исполняет за спиной посвящаемого ритуальный танец, при этом ракушки и кости браслетов на его ногах позвякивают, усыпляя всеобщую тревогу. Шаман тихо напевает, бьет в бубен, призывая слететься добрых богов, души предков и одни облака знают кого еще. Все собравшиеся благоговейным шепотом вторят ему. Небо ясное, солнце в зените, в поле зрения ни облачка, до сезона дождей еще далеко. Шаман продолжает петь песню на наречии своего племени, приплясывая возле одинокого человека со связанными лианой лодыжками. Вдали отчетливо виднеется огромный теплоход, везущий скучных европейцев в кругосветный круиз. Чайки вихрем кружат над отмелью, сообщая пронизательному наблюдателю, что где-то в толще воды сейчас проплывает огромный косяк рыбы. Вдали, над островами, валит погребальный дым, напоминая всем участникам ритуала о чем-то тревожном, внушая им раздражение, страх и необходимость спешить. Шаман иступленно притопывает,

бренчит ракушками, подошвы его ног так выдублены, что он спокойно пройдет по кореньям, осколкам костей, черепкам, оскоке и горячим углям пепелищ. Он издает горлом клокочущие звуки, периодически клюет носом воздух и, совершенно неожиданно, безо всякого предупреждения, со всей силы пинает связанного человека ногой в зад.

Связанный срывается с обрыва и со свистом мешком несется навстречу пене, взбиваемой острыми краями валунов. В полете герой дня узнает много интересного о себе. Во-первых, сразу выясняется, кто везучий, а кто — нет.

Везучие летят легко и быстро, ни за что не задевая, ни за что не цепляясь. На сердце у них царит мир. В голове у них играет приятная музыка. В душе у них праздник и надежда. Воздух вокруг них пахнет лилиями и подмышками девочки. Совершая ужасный полет в бездну, они видят и замечают лишь приятное — огромную желто-синюю бабочку, что сверкает там и тут над уступом скалы. Островок в форме наконечника копья. Их волосы отлично лежат, невзирая на потоки встречного ветра. А шоколадная кожа великолепно смотрится на фоне морской лазури, простирающейся до горизонта. Везучие и здесь все делают как надо: летят стрелой, красиво и гордо, не кувыркаясь, не издавая никаких попутных звуков. И думают о хорошем.

Невезучие в самом начале падения умудряются задеть за отвесный край утеса плечом, макушкой, пяткой, получая на всю жизнь шрамы и отметины. На лету размахивают руками, зачем-то хватаются за торчащий из скалы корень, провоцируя маленький или большой камнепад. Вместе с камнями, пылью и песком за ними осыпаются разбухшие многоножки, разъяренные самки жуков-рогачей, извивающиеся желтые змейки, птенцы ласточек и маленькие изумрудные лягушки, от одного прикосновения к которым могут одновременно околоть пятьдесят лошадей или восемьдесят быков.

Совсем невезучие кувыркаются в полете, царапают руками воздух, зовут маму, тетю и бабушку, плачут, размазывая по щекам слезы, мочатся в набедренные повязки, прикусывают губы до крови, почесываются и скулят. Совсем невезучим все всегда не так: и первый полет, и первая жена, и десятый полет, и десятая жена. И племя, и джунгли, и огонь, и пальмовая крыша — все им не так и не то. Из-за этого их мышцы сжаты, как ржавые детали старой газонокосилки. Позвоночные нервы ущемлены. Тело болит. Море кажется гнетущим, горьким и утомляющим. А завтрашний день не предвещает ничего хорошего.

Тут, в полете окончательно проступает и характер.

Некоторые посвящаемые, невзирая на трудности и осложнения, случившиеся в пути, молчат, наблюдая ускользающий за горизонт теплотход, гадают, каким богом он послан, знамением чего является, куда ускользает и что там на самом деле внутри. Догадавшись о своей невезучести, многие потихоньку свыкаются с ней. Другие матерятся на наречии племени, от неожиданности и обиды отрекаясь от богов, матери и отца, обзывают шамана безрогим бараном, а соплеменников и прочих присутствующих — винторогими козлами, ядовитыми многоножками и разнообразными другими обижающими, неблаговидными существами. Так происходит оттого, что они жаждали легкости и успеха во всех своих начинаниях, и вдруг такое болезненное, неприятное и негладкое испытание. Третьи не обращают внимания на жуков-рогачей, многоножек и камнепад, что осыпается им на головы. Их внимание всю последнюю неделю сконцентрировано лишь на том, как завтра рано утром на площадку возле ритуального костра выведут восемь голеньких девочек с оттопыренными смуглыми животами и мягкими сердцевидными попками. Тогда можно будет выбрать любую, пока не наскучит. Четвертые пытаются что-нибудь предпринять, как-то исправить ситуацию, усиленно сжимая кулаки, наблюдая все вокруг и выискивая спасение. Но все их старания оборачиваются совершенно бессмысленной и бесполезной суетой.

Ветер свистит в ушах, пена становится ближе. Из черных камней у подножья утеса проступают лики идолов. Черными блестящими глазами голодные идолы наблюдают приближение панически сжатого или доверчиво расслабленного перед лицом судьбы тела. Невезучим кажется, что плотьядные пасти идолов вот-вот распахнутся и проглотят их. С вершины утеса, чуть отступив от края, соплеменники с любопытством наблюдают за окончанием полета. Везучим кажется, что некоторые из них добродушно кивают вслед и кричат что-нибудь, вроде «держишься, мы за тебя болеем», скандируют имя или просто улюлюкают. Дальнейшие слова и советы не слышны, ведь ветер в ушах посвящаемого свистит все сильнее, леденя кожу, распугивая клочки мыслей.

Потом происходит самое важное. Лиана натягивается, испытываемый на невероятной скорости тормозит, чувствуя нестерпимую боль в лодыжках. Тело производит немислимые колебательные движения вверх-вниз. Лиана безжалостно вгрызается в кожу везунчиков и неве-

зош, оставляя на лодыжках всех подряд два глубоких рубца, ритуальные метки испытанных и бесстрашных. Колебательные движения подвешенного постепенно затухают, он повисает вниз головой между небом и морем. Самая длинная прядь его волос касается черного оскалившегося валуна. Сверху доносится сдавленный рык восемнадцати соплеменников, которые сжимают верхний конец лианы и скалятся, стараясь удержать его на весу. Они упираются босыми ногами в каменный дерн, их лиловые ступни сбиты в кровь. По наморщенным от боли и напряжения лбам текут огромные сверкающие капли пота. Испытуемый висит, чувствуя, как кровь притекает к голове. Вдали он видит небольшой пограничный катер, а на горизонте — устрашающего вида нефтяной танкер. Цивилизация напоминает о себе далеким истошным гудком. Оба судна движутся каждый по своему маршруту. Большая волна, дошедшая до берега от теплохода, обрушиваясь на валуны, обдает кожу приятно леденящими капельками.

А солнце нестерпимо палит. Первая часть испытания, увенчавшись успехом, подошла к концу. Посвящаемый жив, он висит в полуметре над валунами, радуясь, что длина лианы была выбрана правильно и голова не раскололась, как кокосовый орех. Он хочет пить и, чтобы отвлечься, грезит о завтрашнем утре, представляя голенькие, худые плечи невест, их маленькие острые груди. Струйка крови из правой лодыжки медленно ползет по ноге, густым сладковатым запахом привлекая мошкару. Мимо пролетают несколько камушков и еще извивающаяся в воздухе огромная многоножка, похожая на оживший браслет. Со звуком, похожим на поцелуй, мерзкое насекомое шлепается в воду. Воздух начинает неприятно гудеть — кровь продолжает приливать к голове. Два москита, взявшись неизвестно откуда, кружат вокруг связанных, кровотокающих ног.

Тем временем, на вершине утеса восемнадцать мужчин в мокрых от пота набедренных повязках кусают губы, скалятся и рычат, стараясь удерживать тело над валунами. Время идет. Лиана, состоящая из толстых, ворсистых волокон, похожих на грубые нитки, под весом подвешенного начинает медленно перетираться о зазубренный край утеса. Никто точно не знает, сколько она выдержит. Все зависит от того, сколько лет было растению, сколько сезонов дождей оно пережило за свой век, на какой почве росло, не подточено ли насекомыми. В какой-то момент даже шаман, устав от промедления и бессилия подвешенного, не в силах терпеть напряжение, убегает отлить в кусты. Удаляется,

бросив бубны и погремушки на солнцепеке, отпустив богов, души предков и облака знают кого еще, на все четыре стороны, на зов и заклинания других племен.

С этой минуты посвящаемый предоставлен исключительно самому себе. Один на один с перетирающейся о скалу лианой, шумящим взволнованным морем, ясным голубым небом и оскаленными пастями черных валунов, он бормочет «не могу, не могу», оттягивает секунды, скрипит зубами, рыдает, матерится на наречии племени, ждет чуда, слышит стук сердца в висках, молится, отмахивается от mosкитов. Некоторое время, сдавшись и окончательно упав духом, он висит, сложив руки на груди, как умерший, ожидая неизбежного, не предпринимая никаких попыток спастись. Но потом в один момент синяя искра сама собой пролетает от его мозга по сиреневой сети нейронов, прожигая током все тело. Все мысли испаряются неизвестно куда. Подвешенный оскаливается от боли и отчаянья, превращаясь в жестокое и неукротимое намеренье выжить любой ценой. Счастливчик или невезоша, он становится одной единственной мышцей брюшного пресса, которая раскаляется добела, сокращается и гибает посвящаемого пополам. Тогда он, истекая потом и кровью, хватается за лиану, раскачиваясь над морем и острыми гребнями камней. Скуля и скрипя зубами, пыхтя, дрожа от напряжения, охая и матерясь, оглохший и ослепший от боли человек развязывает узлы или разрубает лиану зажатым в кулаке ножом, заточенной костью, острием стрелы. Ворча и рыча, как зверь, он освобождается от связывающей его лианы. А потом, не чувствуя тела, прыгает в море, освобожденный, превратившийся в слабость, дрожь и облегчение одновременно. Он ощущает обжигающую прохладу, ныряет в волну, видит на отмели морских ежей, видит косяк серебристых рыб, еще не догадываясь, что теперь стал совершенно другим, изменившимся взрослым человеком, воином и мужчиной.

Александр Снегирев

Я намерен хорошо провести этот вечер

Накинув на голову розовый капюшон, я вышел на улицу. Небо синее, из окон бьет отраженное солнце. В клумбе тают корки снега, стекая на тротуар черными ручейками. Снег цвета слежавшегося пепла, усеянный накопившимися за зиму бычками. Гигантская пепельница потекла. Едкий запах нитрокраски — рабочие в оранжевых спецовках красят лавку ярко-желтым. Почки разбухают. Вроде как Господь набрал полный рот зеленой краски и сбрызнул мир, как хозяйка сбрызгивает белье перед глажкой. Снова апрель.

Если бы мне нравились лошади, я бы ходил на ипподром. Мне нравятся женщины, и я хожу на Тверскую. На ипподроме надо платить за вход, на Тверской смотришь бесплатно. Тут женщины на любой вкус: молоденькие, зрелые, фигуристые и унисекс. Они цокают каблуками и шпильками, шуршат балетками и кедами, переступают ногами, держат осанку. Я люблю разные ноги: смуглые и с накачанными икрами, полненькие и чувственные, со щиколотками тонкими и с крестьянскими широкими, с острыми коленками и с округлыми, длинные, короткие, стройные и кривоватые, любые. Лучшего зрелища, чем пара ножек, на свете нет.

В кафе огромные окна от пола до потолка. Зал наполнен солнцем. Напротив меня сидит парочка: она — рыжая немка-голландка, он — шатен, москвич. Обоим по девятнадцать, не больше. Держатся за руки. Он сидит ко мне спиной, она — боком. Прекрасно виден ее бюст, едва не выплескивающийся через края декольте. Она мягкая. Я ее не щупал, но мягкость бросается в глаза. Чрезмерная женская мягкость не в моем вкусе. Предпочитаю определенную степень упругости. Чтобы не как старая подушка, а как накачанный пляжный матрас. Но не перекачанный. Несмотря на весь мой критический анализ рыжей иностранки,

глаз от ее буферов оторвать невозможно. Хочется туда нырнуть. И оставаться там некоторое время. Пока воздуха хватит. Больше ничего и не требуется, только нырнуть. И вынырнуть.

Шатен длинноволос, интеллигентен, кругловат и мешковат. Я был на него похож лет десять назад. То есть в его возрасте. Кругловатым не был, а вот мешковатым был. И остался. Только у меня бедра поуже и плечи пошире. И волосы покороче. И интеллигентности поменьше.

Шатен от перекатывающихся в декольте буферов в отпаде. Они его заворожили. Они бы всех тут заворожили, если бы рыжая сидела ими внутрь кафе. Но рыжая сидит ими в сторону окна, так что весь кайф достается шатену, мне и нескольким рабочим, которые очень уж медленно тянут трос из канализационного люка. Встали друг за дружкой, согнулись и тянут, точно бурлаки на Волге. А пялятся все в окошко кафе на ее буфера. Так они долго трос тянуть будут.

Шатен от буферов не отрывается, то пылинку с них сдует, то голову свою обросшую к ним приклонит, прислонит трепетно. Прикладывается, будто к святым мощам. Парочка то и дело целуется. В лобик. То она его, то он ее.

Не каждый решится иметь постоянно перед глазами такое декольте, но мальчику явно требуется сильная зависимость. Некоторые выбирают героин, другие — белые, колышущиеся, в едва заметных веснушках сиськи.

Время от времени официантки вопят «добрый день» или «всего доброго». Каждый раз вздрагиваю. Мы с нежничавшей парочкой сидим за выступом стены и не видим входящих и уходящих, да и звука двери не слышать. Официанткам никто не отвечает.

Рыжая заказала трясучку с сиропом. Принесли. Трясучка дрожит в унисон буферам. Она что, специально? Со стороны и не скажешь, что чувство юмора ее конек. Впрочем, с чего я так решил? Рыжая поглощает трясучку, срезая ее ложечкой. В трясучке остаются выемки с идеально гладкими краями...

Тут она поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Я даже опешил от такой ее решительности. Вроде я только что был за наглого, а она этим взглядом расстановку сил переменяла. Чувствую, краснею. А она смотрит, усмехается и вдруг говорит мне на чистом русском языке с интонацией приволжской буфетчицы:

— Ну... припади. — И очередную ложечку с трясучкой в свой ротик отправляет...

Уф! Ну и примерещится же! Рыжая по-прежнему смотрит на шатена, шатен смотрит на рыжую. С обожанием. Мне видна часть его профиля.

Даже если бы не было видно, нетрудно угадать, как он на нее смотрит. Животик рыжей немного нависает над ремешком джинсов. Если будет и дальше увлекаться трясучкой, дело примет необратимый характер. С мягкими людьми всегда так.

А еще она наверняка вся покрыта пухом.

Отправляю смс-ку милашке — продавщице каталогов. «Привет, хочешь выпить кофе?» Смс-ка не доходит, ее телефон отключен.

Наступил вечер. Сажу в «Солянке» на подоконнике. С давней подружкой сажу. Место модное уже не первый год. Мы оба здесь впервые. Нам по двадцать девять. Чувствую себя старшим братом, которого родители попросили присмотреть за вечеринкой младших членов семьи. Я привык думать, что я и есть молодежь. Теперь вижу, что больше не я. Мальчики в джинсах, скроенных, как клоунские галифе с отвисшими задницами, словно хозяева обделались. Некоторые и вовсе в рейтузах. Всклоченные девочки с ярко подведенными ресницами. Все моложе меня лет на десять. Они никогда не жили в Советском Союзе. Не коллекционировали стаканчики от заграничных йогуртов. Для них норма, что везде продают колбасу и яркие шмотки. Американские муви принято презирать, а не гоняться за новинками. Повсеместное наличие жвачки их тоже, кажется, не колышет. Десять лет разницы в нашем случае — пропасть.

Я, вроде всегда считавшийся модным парнем, теперь ощущаю себя простаком, любером, Брюсом, блядь, Уиллисом, который приперся на пати к соплякам-мажорам. Вместо пушистой челки у меня бритая башка, вместо бледности — загар, вместо рубашки с кружевными манжетами и бабочкой под горлом — розовая олимпийка с капюшоном. Стоит ли говорить, что джинсы на мне прямые, как у работяги, а очков в черной прямоугольной оправе вообще нет. Чувствую себя даже не голливудским мачо, а лоховатым чиновником-взяточником, которого молоденькая телочка вытащила в свет и он приоделся модненько. В итоге выглядит как безнадежная вчерашка, жалкий от собственных попыток понравиться. Тянет крикнуть: «Мне еще тридцати нет, только двадцать девять! Я могу рейтузы натянуть, если надо! И бабочку...» Тридцати нет, а я уже ископаемое. Хоть в рейтузах, хоть без рейтуз. Время летит, мать его! И пускай какая-нибудь семнадцатилетняя девчонка с всклоченной гривой, обнимая своего изящного мальчика, глянет на меня через плечо, пускай вспорхнут ее ресницы, все равно я старпер. Дядя. Чужой.

Впрочем, я малолетним прелестницам не навязываюсь. Я со своей бабой пришел. То есть с подругой. Мы просто давние друзья. Моя детка сейчас далеко. Мы поцапались слегка, и она улетела. Ничего, через недельку-другую вернется. В окне, из-за крыши дома напротив, луна показала свой краешек. Так, задирая на мгновение юбочку, кубинские кокетки показывают попку. Увлечшись наблюдением за игривой луной и размышлениями о наступившей старости, я стал слушать невнимательно. А давняя подруга между тем заявила, что выходит замуж. Через месяц. Хотели для празднования виллу арендовать в Турции, или пароходик в Греции, или какую-то ферму в Болгарии, но с доставкой гостей затык выйдет. Гости-то в основном голодранцы, никто не сможет оплатить билеты, а те, кто смогут, — поленятся. Приглашать же за свой счет молодожены никого не собираются. Решили, короче, дом отдыха снять. На Десне. Автобус закажут и гостей туда от метро отвезут.

— Тебе как? — То есть, как мне ИХ идея про дом отдыха. Честно? Мне все равно.

— Ты что, охренел?! Это же моя свадьба! — завелась подруга. Голос у нее визгливый. Когда она говорит, это еще можно стерпеть, но когда орет — хоть вешайся. А слова-то какие! Раньше я такие только в кино слышал. «Это же моя свадьба!» Женщины склонны преувеличивать. Возможно, из-за этой склонности и визгливого голоса я сам никогда даже не думал сделать ей предложение. Да она бы и не согласилась.

— Я тоже женат, между прочим, — остудил я ее пыл.

— Что???

Разве я не говорил? Забыл. Пять лет живу с моей деткой, которая сейчас далеко. Год назад расписались. Без всяких вилл и пароходиков греческих. Думал, что рассказывал. Значит, не рассказывал. Память — не самая сильная моя черта.

— И ты мне не сказал?! МНЕ!!! Когда?! Где?!

Какая ей на хрен разница! Она ревнивая, моя давняя подружка. Все должна знать. Почему я должен был ей сказать? Наверное, потому что мы друзья. Я эгоист, ЕЙ не сказал. Надо было сказать. Просто я не придаю такого значения бракосочетанию, как она. Я придаю значение отношениям. Призываю ее не стучать, треплю ее тяжелые сливовые волосы. Потихоньку она остывает и с новой силой принимается терзать меня вопросом, как мне идея отпраздновать заключение брака на Десне.

— Нормальная идея. Главное, чтобы с погодой повезло, — мне по-прежнему все равно, но я всячески себя раззадориваю. Она вроде не

особо-то любит своего будущего мужа. Просто пора определяться. Детей пора заводить. Возраст. Я не ревную, не радуюсь за нее. Я искренне ничего не чувствую. Мы с подготовительных институтских курсов дружим. Она поступила, я нет. Хоть с ней-то я могу не притворяться после стольких лет?! Могу быть настоящим? Быть собой. Радоваться, только когда мне хочется. Быть безразличным, когда все равно. Не говорить: «Вау! Какая крутая идея! Дом отдыха, пляж, шашлычок и бухло!» Мы здесь сидим вместе только потому, что нам не надо притворяться. Очень не хочется разрушать эту гармонию. Но ей приспичило. Моей давней подруге. Чтобы не расстраивать ее окончательно, я беру себя в руки и старательно выговариваю: «Вау! Какая крутая идея! Дом отдыха, пляж, шашлычок и бухло!» Фальшиво, но она удовлетворена. Тараторит что-то о программе мероприятия, а мне становится страшно за свои атрофированные чувства. Как же непоправимо мне все равно, где пройдет празднование ее свадьбы! В какой-нибудь пропахшей баклажанной икрой и лечо болгарской дыре, на подмосковном замусоренном пляже или на Марсе. Я точно знаю, что от места никак не будет зависеть качество гостей и самого праздника. Гости окажутся мелкотравчатыми и чванливыми. Парни будут говорить про автомобили в кредит, про ночные уличные гонки, про литые диски, про КАСКО и ОСАГО и кто сколько отдал гаишнику за встречу. Будут говорить «мы покупаем» и «мы продаем», описывая сделки компаний, где они занимают ничтожные должности. Бабы похвалятся детьми и отдыхом в отеле «все включено» в Турции, где они с утра до ночи бесплатно объедались, хамили обслуге и жарились на пляже. Мы как-то незаметно вступили в тот возраст, когда все разговоры только об этом, да еще о прикольных роликах из youtube. Я страдаю в таких компаниях. Ни одна из тем меня не интересует. А если учесть, что все будут отчаянно преувеличивать собственный успех, подкручивать счетчики благополучия, то праздник превратится в сборище хвастливых неудачников, которые весь день будут понтоваться и наносить друг другу раны. Человеческая свадьба...

...Перед кабинками туалета скаучает охранник. Его задача – контролировать количество заходящих в каждую кабинку. Больше одного нельзя, а то очередь образуется. Давняя подруга осталась сторожить подоконник. Не успеешь отойти, как кто-нибудь из бóрзых молокососов обязательно пристроит туда свою тошую задницу.

Перед зеркалом мальчуган с тонким длинным галстучком тщательно смачивает пепельную челку водой. Придает волосам нужную форму. Брызгает, укладывает. Ближайшая ко мне дверка распахнулась, выпу-

стив изящную девчущку в платье и низких сапожках. Я зашел в освобожденную кабинку, заперся. Пришлось слить воду. Не люблю пользоваться унитазом после того, как кто-то до меня не спустил. Испытываю едва уловимое разочарование; всегда думал, что изящные девчущки в платьях обязательно за собой спускают. Почему я так думал? Типа изящные девчущки не люди и поэтому не ведут себя по-людски. Мужской шовинизм. Все одинаковы, изящные девчущки не исключение. Они тоже не спускают за собой в сортирах. Искренне радуюсь, что еще не утратил способность удивляться. Значит, старость еще не целиком меня сожрала. Лет пять назад я громче всех орал, что не боюсь ее. Старости. Теперь боюсь. Не очень-то морщины пугают, пугает отчужденность. Не берут стариков в компанию, хоть ты тресни. Разговаривают со стариками только из вежливости. Уверены, что старики ничего не поймут, чего с ними болтать лишний раз?

Мою руки. Мальчуган с галстучком продолжает совершенствовать форму челки. У меня сильно выделяются носогубные складки. Как у Брюса, блядь, Виллиса. Старею. Точняк. Пора уколы омолаживающие делать. А может, просто верхний свет слишком яркий?

...Проталкиваюсь через толпу. Целуются. Одинокая девочка яростно танцует с закрытыми глазами. По лицам, затылкам, плечам бегут растительные узоры светомузыки и «снег» от зеркальных шаров под потолком.

На стойке бара ведра с нарциссами. Каждый цветок — белая звезда-блюдец, а посередине гофрированный желтый стаканчик с оранжевой каемочкой. Острый запах прелести, наглости, ранимости и весны. Я так пах десять лет назад.

Я тоже был хрупким. Тоже вертелся перед зеркалом подолгу. Грудь гладкая, безволосая. Редкие волоски я тщательно выщипывал, если они появлялись. Тогда в моде были хрупкие мальчики. Я изо всех сил старался быть хрупким.

За спиной барменов огромное зеркало. Вижу себя. Передо мной спины снующих барменов, за мной волнующееся море танцующих. Теперь я смотрю на это море, а в другой раз я танцую в этом море, и кто-то смотрит на меня. По моему лицу бегут растительные узоры и буквы видеопроекции. Господь что-то пишет на мне. Не разберу что.

Привлечь бармена целое дело. Надо работать локтями, орать, опережать конкурентов. Все как на тонущем корабле. Лучший способ обратить на себя внимание и не быть неудачником — показать бармену крупную купюру. Бармены, как женщины, если увидят деньги, то сразу понимают, что у тебя серьезные намерения.

Заказал два лонг-айленда. Это наша с подругой традиция — убираться лонг-айлендом. Я ни с кем больше не пью лонг-айленд, только с ней. Не потому что «святое», просто больше никто не предлагает пить лонг-айленд. Может, у меня круг общения узковат, а может, просто любителей лонг-айленда в Москве мало. А сам я не заказываю. Предпочитаю чистые напитки. В прошлое наше подобное свидание, несколько лет назад, вылебав штук по восемь лонг-айлендов, мы долго целовались и я облапал ее всю. Она тоже дала волю рукам. Все шло к пьяному траху в подъезде, у пыльной решетки лестничной шахты, но у меня в какой-то момент сработал тормоз. Подруга до сих пор уверяет, что тормоз сработал у нее. В любом случае, хорошо, что он сработал у кого-то из нас и ничего не случилось. Те, с кем у меня тормоз не срабатывал, не составляют мне компанию по питью лонг-айленда. А ведь с кем-то его нужно пить.

Теперешний лонг-айленд — четвертый по счету за вечер. «Вот сучка, — думаю. — Замуж она выходит. Жених в командировке, а она шляется. Перед свадьбой проводит ревизию друзей мужского пола. Сегодняшний вечер выделила мне». Забираю лонг-айленды. Посмотрим, чем дело закончится.

Вокруг много молодых девчонок. Взгляды ласкают, тела касаются. Может, влюбиться? Любовь — настоящее чувство, не светское. Мне так не хватает настоящего. Весна, свежесть вокруг, прелесть. Да ну... Лень, и кроме того, я уже люблю мою детку. Мне интересно с ней, и я хочу ее. Это ведь называют любовью? Только апреля в сердце нет... Ни в ее сердце, ни в моем. Хочется просто хорошо провести вечер...

...Разговор переключился на кризис. На политику. На уроки истории. Говорим о волках и баранах. Русские, как накатят, сразу о политике начинают. Или о войне. Как будто других тем нет. Травмированные мы. Даже женщины. Подруга говорит, что нам царь нужен, сталин какой-нибудь. Мы без пастуха не можем, быдло мы. Наши спины по кнуту скупают. Я даже не спорю. Такая банальщина, новенькое бы что-нибудь придумала.

Подруга, хоть и накирялась уже, хоть и притормаживает, хоть глаза у нее и остекленели малек, но тормозит меня активно. Типа, давай, выскажи мнение, нельзя быть общественно пассивным, аполитичным. А я не люблю всякую дребедень по сто раз обсасывать. Лично мне сталин не нужен, я из тех баранов, которые сами, без конвоя, могут выходить утром на пастбище, а вечером возвращаться в хлев. А подруге сталин нужен. Маленький какой-нибудь. Малюсенький, но сталин. Она из тех, кто может утром выйти пастись, а вечером не вернуться. И во-

обще никогда не вернуться. Увидела барана из другого стада и про своего прежнего барана забыла...

...Громкая музыка. Каждое слово приходится в ухо орать. Это сблизает. То губами непроизвольно мочки коснешься, то щекой щеки, то ее прядь за мою щетину зацепится. Приходится отцеплять. Детка моя в отъезде, вот я и не бреюсь.

После четвертого лонг-айленда глаза подруги перестали быть стеклянными, а стали чувственными. Губы приоткрываются чаще, чем надо бы. Я тоже пьян и только догадываюсь, как выгляжу. Наверное, один глаз у меня открыт широко, а другой наоборот, прикрыт. У меня с лицом всегда такое творится, когда нервничаю, устану или выпью. Что-то с мускулами. От рождения. Перекашивается морда. Вид довольно дикий. Одних пугает, других заводит.

Интересно, скоро ли мы поцелуемся?

Апрель как совершеннолетие: ждал, ждал, а когда дождался, не сразу понял, что вот оно, наступило. А когда понял, не знаешь, что делать. То надо успеть, это. Пока метался, бах, уже пятнадцатое число, а потом дни сыплются камнепадом, закручиваются воронкой. Пасха, нарциссы, тюльпаны, первые ливни, молнии, пухлые кисти сирени клонятся, набухшие от влаги, шмели, похожие мехом на почки вербы, цветущие яблони — помазки, обмакнутые в пену для бритвы. Белыми лепестками с синими заломами усеян асфальт. Старая липа за окном скрипит, как кровать... Только вошел во вкус, и тут трах-тарарах, здрасьте-приехали. Майские праздники закончились, и тополиный пух уже лежит на черной глади прудов, как пыль на крышке роюля.

На Тверской женщины лучшие, отборные. Как в императорском маже. Все идут по солнечной стороне. И я среди них. Женщины текут вокруг меня, как струи райского источника. Проехала поливальная машина, погудела, но я не расслышал, замечтался. Облачко влаги село на лицо.

Похрустев пылью на зубах, сворачиваю в кособокие переулки. За кованой решеткой детского сада девочка пускает мыльные пузыри. Пузыри разлетаются в стороны, как перья из разодранной подушки. Кто куда. Летят к верхним окнам домов, парят над тротуаром, чиркают об асфальт и исчезают, струятся над головами прохожих, впархивают в открытые окна автомобилей, вылетают через противоположные окна и летят дальше, между ветвей с набухающими почками. Один, лазурный, величиной с яблоко, завис перед моей физиономией. И не

дает пройти. Я влево, пузырь влево, я вправо, пузырь туда же. Нарывается. Переливается. Оплывает мыльной пленочкой. Сверкает. В пузыре преломляется вся улица, небо и я. Один взмах моей руки, и нет его. Я взмахнул. Он увернулся.

Позвонил отец, просит помочь поменять зимние колеса на летние. Обещаю сделать все в выходные. Воспользовавшись тем, что я отвлекся, пузырь совсем обнаглел и стал на меня наплывать. Накатывает, как омовец на митинге. Неохота связываться. Слева распахнуты пышные двери старинного особняка. Отступаю в эти двери...

...Внутри выставка фотографий, иллюстрирующих один великий русский роман. Главную женскую роль исполнила очаровательная в былые годы, но в настоящее время разжиревшая французская актриса. Главная мужская досталась мужчине с русой бородкой. Такие мужчины обычно сводят с ума засидевшихся домохозяек с книжно-журнальными требованиями к интиму.

Фотографии мне не понравились. В романе есть мощь и сила, красота и роскошь. А фотографии выглядят так, как если бы плохо развитые, малоприятные люди решили поиграть в королевский двор. Нарядились в арендованные костюмы и давай куролесить. Мужчины напоминают курортных разводил, женщины — подвыпивших секретарш.

Зато сам особняк не подкачал. Пышная белая лепнина, мраморная лестница, старинные мутные зеркала. Кое-где потолки начали расписывать: лесок, крестьяне, облачка. Вовремя я зашел, роскоши того и гляди придет конец, будут здесь цветастые залы.

Поднимаясь по лестнице, я встретился глазами с продавщицей буклетов. Она со своим лотком стоит на площадке второго этажа. Ленивая такая крошка. Исподлобья посмотрела. Темно-шоколадные волосы, такие же глаза. Стояла и смотрела. Хорошенькая. Я ей кивнул. Ответила. Все дело в моем розовом капюшоне. Мне идет розовый цвет. Капюшон, торчащий из-под куртки, привлекает женщин. Да и мужчин тоже. Мужские взгляды вызывают досаду с оттенком самодовольства, женские — приятное волнение. Меня интересуют только женщины. Мужчины меня не интересуют.

Ясно, что, когда лестница закончится, я окажусь рядом с хорошенькой продавщицей. Надо будет что-то предпринять. Я замедлил шаг. Надо успеть придумать, что предпринять. Мне ничего от нее не нужно. Но моя детка ведь в отъезде. Надо соответствовать. На последней ступеньке я замешкался, но все-таки решился:

— Когда вы обедаете?

— Я не обедаю. — Довольная. Отшила меня, сама не знает зачем. Я ведь ей понравился.

— Тогда я куплю у вас буклет. — Выбрал самый дешевый. Все равно выброшу в первую урну.

— Возьмите чек.

— Мне чек не нужен... Разве что вы напишете на нем что-нибудь полезное.

Милашка поразмыслила секунду и написала телефон...

...Сидя спустя час в кафе и изредка отрываясь от буферов рыжей немки-голландки, я решил набрать номер с чека. Может, смс-ка не дошла по какой-то своей причине. Набираю. Такого номера не существует...

Некоторые, когда просят у девушки телефон, сразу его прозванивают. Удостовериться, что номер правильный. Я так никогда не делаю. Не хочется мне никого за руку ловить, захочет — даст телефон, не захочет — все равно не заставишь. Рассмотрел чек повнимательней. Цена, дата, номер чека. 399. Интересно, многие из трехсот девяноста восьми покупателей просили у милашки номерок? И многих ли она киданула? Преувеличил я магическую притягательность своего розового капюшона. Или она почувствовала мою неуверенность? Или мое глубоко спрятанное безразличие?

Рыжая доела трясучку. Облизала ложечку. Чувствую холод этой ложечки, будто не рыжая, а я ее облизываю. Шатен нежно утер ей губки. Пока утирал, она преданно смотрела на него зелеными глазами. Я с трудом сдерживался, чтобы не гоготнуть. Чтобы не фыркнуть громко. Щенячьи нежности! Нечего там утирать, она аккуратно ела! Яркий солнечный луч упал на ее лицо, и стало видно, оно заметно напудрено. Протестантская Европа не научила рыжую пудриться так, чтобы в глаза не бросалось. А она ведь наверняка презирает московских телок за чрезмерный загар, показную роскошь и продажность. Зато эти курочки умеют пудриться. Поучилась бы у них. Заодно диету правильную подскажут. Ха! Накачав себя иронией, я усмехнулся. Рыжая все смотрела своими зелеными глазами в карие глаза шатена. Смотрела и смотрела. Чего вы тут передо мной разыгрываете?!

Я осекся. Вспомнил. Когда-то и мне так смотрела в глаза одна девочка. Только ее глаза были другого цвета. А сиськи тоже видные. Но поплотнее, как я люблю. Я так же трепетно касался ее. Хоть этот и поинтеллигентнее... И не знал, что делать. Страдал, мучился, ее мучил. Потом была другая, тоже смотрела, потом... Потом еще не-

сколько разных, не знакомых друг с другом женщин смотрели, но особого значения я уже этому не придавал. А может, и не смотрела так больше ни одна. Если бы смотрела, я бы запомнил. Первая любовь... Не считая Машеньки в детском саду, которой показал пипку в обмен на то, что она покажет свою...

Господи, как же я стар! Старый-старый. Обидно до ужаса. Старики часто говорят, что тело у них морщинистое, но душа молода. У меня все наоборот. От любви сердце уже не замирает, смотрю на подростков и брюзжу, как долбаный пенсионер. Все я видел, все знаю. Не ждет меня судьба за поворотом. Не мечтаю я о дальних странах. Все помыслы о том, как бы хорошо провести вечер... А что у меня запланировано? Не могу же я так бездарно провести время, пока моя детка в отъезде. Мне того и гляди стукнет тридцать, в мои годы уже нельзя упускать шансы. Я обязан гульнуть.

Позвонил одной парикмахерше. Мы раза два переспали к обоюдному удовлетворению и потеряли друг друга из вида. Как дела? Давно не виделись. Согласна пригласить меня в гости. Вечерком, после закрытия салона.

Я воодушевился. Ощущения, что мне необходима эта встреча, у меня нет. Но надо. Положение обязывает. Точнее, возраст.

Накупил всякой жратвы. И себе, и на вечер. Даже клубнику купил, бабы любят романтику, а клубника, пожалуй, самая бронебойная из всех существующих романтик. Я никогда не придавал этому значения, а теперь решил придать. Первый раз в жизни на свидание с клубникой пойду. В двадцать девять лет. Авокадо купил. От авокадо стоит хорошо. Сожрал это авокадо вместе с банкой печени трески. Не знаю, влияет ли печень трески на стояк, но мне очень захотелось печени трески. Давно не ел. Сразу целую банку навернул. Начал ждать вечера. Перевозбудился даже немного от ожидания. А может, от авокадо с печенью. Даже подрочить пришлось, чтобы пар выпустить. И тут позвонила давняя подруга, предложила повидаться. Парень ее в командировку уехал. Пришлось отказать, вечер-то уже занят.

Только трубку положил, как от парикмахерши смс-ка пришла. «Сорри, не могу, затрахалась на работе». Слила меня. Я впервые в жизни клубнику заранее заготовил, а она меня слила. Ну, я сразу давней подруге перезвонил, типа, планы изменились. А она уже со своим одноклассником забилась. Пришлось постараться, чтобы этого одноклассника долбаного отжать. Уж я постарался. Не жрать же мне клубнику дома перед телевизором. Раз уж я решил хорошо провести вечер, я его проведу хорошо...

Короче, день прошел и наступил вечер. Сидим мы на подоконнике в «Солянке» и напиваемся. Вот-вот случится поцелуй. Зачем он мне? Зачем ей? Незачем, но все к тому идет. Да и лонг-айленд опять же. Я спорю сам с собой. Делаю ставки. Вот сейчас. Нет, на новый круг. Теперь. Опять нет. Если бы нас комментировал футбольный диктор, было бы так: «Он опять склонился к ней... что-то говорит... бурно жестикулирует... отвлекающий маневр... притворяется, что увлечен беседой, а сам бросает хищные взгляды на ее плечи, грудь, губы... Она поправляет лямку майки, крутит прядь пальчиком... Он отклонился, прицелился... Смотрят друг на друга... Хороший момент! Передача! Ну!.. Она положила ему голову на плечо».

После нескольких опасных передач я целую ее. Комментатор орет «Гол!», но тут же отказывается от своих слов, сославшись на бокового арбитра, зафиксировавшего офсайд. Подруга на поцелуй не ответила.

Моя попытка придает подруге огонька. Она становится бодрее и веселее. Трезвеет. Принимается болтать о грядущей свадьбе с новым задором. В ее голосе появляются знакомые нотки, теперь она хочет понравиться мне как женщина. Включился ее охотничий инстинкт: интонации, журнальные улыбки. Как только я улавливаю это, становится скучно. Ее желание мне понравиться отталкивает. Не люблю, когда женщина пытается мне понравиться. Две вещи не люблю: когда женщина долго вертит хвостом и когда пытается понравиться. Целоваться расхотелось, но дело надо довести до конца. Пацан сказал — пацан сделал. Я сегодня никому ничем не обязан, ни моей детке, ни будущему мужу давней подруги. Я намерен хорошо провести этот вечер.

Слушаю ее вполуха. Хочется, чтобы она поскорее заткнулась со своей светской болтовней. Мы же старые друзья, зачем этот тон салонной вертихвостки. Глажу ее затылок, почесываю за ухом, как кошку. Наматываю ее волосы на руку. Немного вьются, местами выгорели. В Египте недавно была, дайвинг. Длина волос до лопаток идеально годится для наматывания на руку. Прекрасно наматываются. Притягиваю ее к себе. Теперь уж ты никуда не денешься, моя курочка. Игрок один на один с вратарем. Удар.

На этот раз комментатор орет «Го-о-о-о-л!», подсакивая со стула. Мы долго-долго целуемся. Мы оба научились это делать к нашим тридцати годам. К двадцати девяти. Лично мне если и будет за что не стыдно на том свете, так это за качество поцелуев. Она закрыла глаза. Я тоже. Я первым глаза открыл. Из нас двоих неврастеник я. Не могу расслабиться. А может, дурное предчувствие. Открыл я глаза и вижу шагах в десяти приятельницу моей детки. Не приятельницу даже, так,

знакомую. Болтливая бывшая модель со шведским лицом. Она смотрит на меня...

— Ты почему целуешься без языка?! — спросила давняя подруга.

Я не знаю, что ответить. Почему без языка? Я всегда с языком целуюсь...

Пятый стакан, последний. Давняя подруга решила всерьез изменить свою жизнь. Молчим. С кем я отныне буду пить лонг-айленд?.. Придется ждать, когда подруга начнет погуливать или разведется. Луна катится по небу вверх, и кажется, что земля наклоняется, как корабельная палуба. Еще немного, и стаканы поедут со стойки, бутылки посыплются на пол, танцующих прибьет к нашей стене, а мы с подругой выйдем в окно. А следом машины, дома и прочие украшения, придуманные людьми, попадают за край Земли, как хлебные крошки с доски...

...В такси давняя подруга достает из пачки последнюю сигарету, закуривает, сминает пачку и бросает в окно.

— Подняться? — спросил я, когда «Волга» остановилась возле ее дома. Сам не знаю, зачем спросил. Спросил и прикусил язык.

— Не надо.

Еду домой, покачиваясь на заднем сиденье огромной старой колымаги. В приоткрытое окошко влетает свежий ночной ветерок. Так и стоит жить, чтобы свежий ветерок всегда обдувал лицо.

Следующим утром я поднимался по эскалатору со станции метро. Там, где ступени катятся под стальные зубчики порога, бился крупный розовый пион. Дрожал в прибое бесконечно набегающих ступеней. Так на море к берегу намывает всякий сор: окурки, пластиковые бутылки, кокосы, трупы. Торопливые ноги переступали через пион. И я переступил. Переступил, оглянулся, замешкался. Жалко пион, но сойтись навстречу людям глупо и смешно как-то. А, черт с ним! Юркнул, нагнулся быстро, выхватил цветок из-под непрерывных ног.

Пальцы первыми почувствовали подставу. Не трепетный материал спасли они, а сухую бездушную синтетику. Пион оказался искусственным. Но вполне красивым. На губку для душа похож.

Покручивая фальшивый цветок в руках, я вошел во вчерашнее кафе. Как будто еще разок хотел подглядеть счастье рыжей и шатена. Их, конечно, не было. Зато перед входом дымила и пахла сладковатыми помоями урна.

На месте влюбленных сидели три девицы, похожие на рослых беспородных кобыл. Я занял тот же столик, что и накануне. Девицы похотывали, поглядывая на меня, и наворачивали салаты, как овес из яслей. Официантки по-прежнему гаркали «добрый день» и «всего доброго».

Девицы доели и ушли. Вместо них остался солнечный луч.

За окном прошла парочка. Свидание. Оба одеты парадно. Он в костюме из серой переливающейся ткани и в длинных туфлях под зебру, только полоски раскрашены в леопардовые цвета. Сама кожа туфель чешуйчатая, вроде как змеиная или крокодиля. Под рептилию, короче. Скулы хозяина туфель побиты прыщами. В руке он держит малюсенькую сумочку своей спутницы. Спутница же коряво ковыляет чуть позади на шпильках. В одной руке у нее откупоренная банка слабоалкогольного коктейля, в другой – бордовая роза в целлофане.

Влюбляться расхотелось окончательно.

Рассматриваю искусственный пион. Может, второе пришествие скоро случится? Иран наконец начнет ядерную войну? Или хотя бы голодающие безработные устроят бунт, и привычный мир погрузится в хаос. Нам всем нужен хороший удар током, как человеку с остановившимся сердцем. Чтоб тряхнуло как следует. Чтоб реальность перестала двоиться, а цели стали просты и ясны. Жизнь и смерть. Все станет настоящим, искусственные пионы исчезнут.

Правда от ядерной войны и помереть можно, но при этом никто не гарантирует, что на том свете будет иначе, не так, как на этом...

А пока ни один псих не нажал на кнопку, я наслаждаюсь утром и тем, что накануне мне целых три леди дали от ворот поворот. Я не больно-то их хотел. А они почувствовали. Им тоже, небось, надоело прикидываться. Эти девчонки и без ядерной войны могут быть настоящими. Если бы давняя подруга не сказала «не надо», этим утром я бы чувствовал себя гадко. Я обязательно чувствую себя гадко, если просыпаюсь рядом с девушкой, которая имеет привычку выкидывать сигаретные пачки в окно такси. Все равно что на ночь наесться жареных сосисок с кетчупом, запить вином с водкой и не почистить зубы. Когда я просыпаюсь рядом с моей деткой, я никогда не чувствую себя гадко. Я люблю ее спящей, нюхаю ее волосы, осторожно, чтобы не разбудить. Слушаю ее посапывание, и хочется, чтобы утро никогда не заканчивалось. Может, все это я чувствую потому, что она сигаретные пачки в урны бросает. Может, это и есть любовь...

Небо синее, из всех стекол бьет отраженное солнце. Некоторые почки распустились. Типа Господь набрал в рот зеленой краски и наплевал на мир.

Вечер я провел прекрасно, только одно беспокоит: почему я все-таки целовался без языка? Наверное, просто забыл про язык на четвертом лонг-айленде.

Виктория Лебедева

Ешь

Марья Андревна ведет пальцем по ободку тефлоновой сковороды, обсасывает, жмурится от удовольствия:

– М-м-м! Вкусно!

– Мама!!! – гневно восклицает Мила.

– А что? – обижается Марья Андревна. – Матери пожалела, да?!

– Господи, ну при чем здесь...

Не дослушав, Марья Андревна гордо покидает кухню, громко хлопает дверью.

– Извини, – говорит Мила. – Вот вечно она... Нельзя ведь ей!

– Да ладно...

Когда они на кухне вдвоем, я сижу в своей комнате и не высовываюсь. Но сейчас не могу – картошки жалко, сгорит.

Я в их дела не вмешиваюсь. Политика нейтралитета – лучший способ выжить в условиях коммуналки. Миле что? Она приехала и уехала, а мне у Марьи Андревны еще до осени снимать. Меня Марья Андревна тоже не трогает – я плачу деньги. К тому же я чужая.

Мила уходит вслед за матерью. Я помешиваю картошку. Еще минуты три и все, можно выключать. Из коридора доносятся голоса. Они все громче, все ближе, все надсаднее. Марья Андревна начинает плакать, потом кричать. Слышно, как увещевает ее Мила: «Мама, не надо, люди услышат!» Но Марье Андревне уже не до того. Она визжит. Голос у нее делается высокий, пронзительный.

Бухает комнатная дверь, в ответ – входная.

Все, сбежала Мила. Сегодня еще ничего, а вот, помнится, под Новый год, из-за мисок... Миски у Марьи Андревны замечательные, да. Внутри исцарапанные все, выщербленные. Точно болячками покрыты. И дно горелое. Вот Мила и решила их, того, на помойку. Держите карман! Отдаст Марья Андревна миски, как же. И ведь подрались даже. До Рождества потом не разговаривали.

В кухню бочком вдвигается Марья Андревна, старательно всхлипывает. Я молчу. Марья Андревна всхлипывает снова, погромче. Потом не выдерживает, бормочет обиженно:

— Вот, воспитывай их! Матери пожалеют!

Глаза у Марьи Андревны красные, припухшие. Лицо и вовсе багровое.

— Картошки хотите? — предлагаю я. — Только что с плиты.

— Нет, спасибо, — сердито отвечает Марья Андревна.

— Горяченькая! — я протягиваю Марье Андревне исходящую паром сковороду.

Марья Андревна мнетса.

— Ну, если немножечко... — двигает ко мне миску.

Я отсыпаю картошки:

— Угощайтесь! Это молодая уже.

— Вот спасибо, миленькая, — причитает растроганная Марья Андревна, давась горячей картошкой, щедро приправленной слезами. — Не понимает она! Совсем не так жить стали, совсем не так! Матери пожалела! А я помню, в сорок третьем, в эвакуации... Пять лет мне было... Вот поголодали бы и поняли...

Слезы текут и текут по ее одутловатому лицу, и непонятно, плачет ли она от злости на Милу или от воспоминаний, а может, просто картошка слишком горячая.

* * *

— Голодала? — Нина Андревна смеется. — Ну нет. Кто вам такое сказал?

Нина Андреевна старше на двенадцать лет. Ей уже семьдесят девять. Но именно она почему-то навещает сестру, не наоборот. Они совсем не похожи. Нина Андреевна — пожилая дама, у нее шляпка и помада. Марья Андревна — бабушка. У Марьи Андревны хозяйственная сумка из болоньи, сапоги «прощай молодость» и засаленный передник.

— Мы в эвакуации жили, в Ташкенте, — рассказывает Нина Андреевна. — Мне было семнадцать. А через два квартала — училище летное. Отец наш, понятное дело, на фронте, мать на работе с утра до ночи, а я как раз школу заканчивала. Ну и бегала туда на танцы по вечерам, дело молодое. Только Машку уложу, ногу за порог вынесу, а она сядет в кровати и хнычет: «Исть хочу!» Что было делать? С собой брала. Я тогда красивая была, коса вот по сию пору, — Нина Андреевна пово-

рачивается, пытаюсь показать, до какого места доходила коса, но артрит не пускает. — Курсантиков много за мной ухаживало. И вот приведу я Машку в раздевалку, на пальто посажу... а зима была, холодно, хоть и юг... Машка не хочет одна сидеть, пищит: «Исть хочу!» И кавалеры мои несут ей из офицерской столовой полный котелок каши. Пшенной. Ну, я танцевать. А Машка сидит на куче одежды, точно царица Савская, кашу ест. Ложка большая, едва во рту помещается. И ведь съедала до крошки все, честное слово! Стенки даже вылизывала.

* * *

Днем Марья Андревна смотрит кулинарные шоу. Она глуховата. Когда я со смены, я засыпаю, а вот в выходные... Читать под это невозможно. Работать — тем более.

Шоу заканчивается, и Марья Андревна потихоньку царапается в дверь:

— Вы работаете, да?

Сворачиваю файл.

— Ничего страшного, заходите.

— Там, знаете, сегодня такой интересный рецепт был, — делится Марья Андревна. — Пьер Нарцисс готовил!

— Здорово, — киваю я вежливо. Я понятия не имею, кто такой Пьер Нарцисс.

— Надо курочку, филе, до золотистой корочки. И соус к ней. Апельсиновый. Или вот салат еще был, с креветками и огурцом. — Марья Андревна мечтательно прикрывает глаза.

— Здорово, — опять соглашаюсь я.

— Там еще авокадо нужно.

— Да?

— Да. Авокадо, оно на грушу похожее, только зеленое.

— Я знаю.

— А оно дорогое, авокадо?

Мучительно пытаюсь вспомнить. Вспоминаю:

— Рублей, кажется, тридцать. Или сорок.

— За килограмм? — оживляется Марья Андревна.

— Нет, за штуку.

— Ох, как дорого! Ничего себе! Ну, не буду вам мешать.

* * *

По вечерам она себе готовит. В кухне пахнет перегоревшим маслом и кислой капустой. Спасаясь бегством, но не тут-то было. Марья Андревна гордо тычет мне под нос кульком пожухлой моркови:

— Вот! На рынке бесплатно дали! Такой приятный молодой человек. Азербайджанец, наверное.

В знаменитой миске, в самой большой, целая гора помидоров с бочками.

— И вот это еще! — кивает Марья Андревна на миску. — Поделиться с вами?

— Нет, спасибо. Я сегодня купила.

— А, ну ладно. А то, может, возьмете? У меня много.

— Нет, мне хватит, — опять отказываюсь я и взамен предлагаю колбасы.

Колбасу Марья Андревна любит фанатично. Это для нее как наркотик.

— Мне ма-алюсенький кусочечек, вот такой, — суетится Марья Андревна. — Вот, все. Хватит.

Делает бутерброд с белой булкой, жует. Спрашивает, роняя крошки:

— До-о-га-я?

— Нет, не очень, — сразу называю минус пятьдесят за кило, иначе она застесняется, переживать будет.

Мила возит ей продукты сумками, колбасу в том числе. И помидоры. Марья Андревна суетится сначала, благодарит, говорит, мол, не стоило беспокоиться, а потом, с одного неосторожного слова, заводится, злится, начинает пихать все обратно. Они ругаются. Мила хлопает дверью и уезжает. Марья Андревна плачет. Неразобранные сумки тухнут под вешалкой.

* * *

Просыпаюсь, нашариваю на тумбочке мобильник. До будильника еще полчаса. В коридоре бубнят. Медсестричка, видимо. Пришла укол делать.

— Что ж вы, Мария Андреевна, диету не соблюдаете? Разве вам можно?!

— Соблюдаю. Как же не соблюдать? Соблюдаю!

Наверное, она сейчас крестится. Она всегда крестится, когда врет про диету.

С чужими Марья Андревна — мед с молоком. Так и течет. Когда по телефону уменьшительно-ласкательные суффиксы и «мое солнышко», тут и к гадалке не ходи — подруга. Если заизвинялась — в банк звонит, насчет пенсии, или в поликлинику. А если «неблагодарная» и «помру, на могилу не ходи!» — это, значит, Мила.

Иду варить кофе.

— Ой, а хлеба-то нет, кончился! — суетится Марья Андревна, выбирая из мятой кучи за плитой пакет почище.

— Может, мне сходить?

— Нет, спасибо. Сама пойду сейчас.

— А можно ли? После укола-то?

— Ничего. Я тут, рядышком. В «Пятерочку».

Ноги у Марьи Андревны большие. Суставы. Последние месяцы еле ходит. Но «Пятерочка» — это святое. У местных бабушек там что-то вроде клуба. Я туда даже не суюсь до обеда. Все равно что встретить компанию пьяных тинейджеров в ночь с пятницы на субботу — мало ли что.

* * *

Раз в месяц заезжает внука, студентка. Она по вечерам в «Макдональдсе» подрабатывает. Привозит бабушке детский обед — гамбургер и маленькую картошку. Марья Андревна бережно прячет гостинец в холодильник. Суетится и сюсюкает. Приносит из заначки «на мороженое». Выспрашивает про учебу. Интересуется, есть ли «мальчик».

— Ну ба!!! — сердится внука.

— Да я ничего, это я так просто. Ты вот ешь лучше, ешь!

Марья Андревна пытается накормить внуку борщом. И пряниками. И котлетами. Внука есть отказывается — она худеет. Марья Андревна расстраивается и причитает.

— Ба, я и так толстая!

— Ты посмотри, ведь кожа да кости!

Внука уезжает, Марья Андревна достает гостинец. С величайшей аккуратностью разворачивает промасленный пакет, вынимает гамбургер, потом картошку.

— Марья Андревна, вы бы погрели. Невкусно же.

— Ничего, миленькая, я так.

Откусывает от бутерброда, тщательно жует, уставившись в одну точку. Котлета внутри просевшей булки белесая от проступившего жира, картошка вся скукожилась.

* * *

— А с чего ей быть спокойной-то? Сама посуди. Отца как выгнала, мне года два было, так и жила без мужика. Думаю, ты понимаешь. Как женщина. Сублимация. Типичный случай. Я в журнале читала. И ведь говорю ей — ну не ешь ты столько, ведь нельзя же тебе! И врачи вот... А, все без толку. Я бы забрала ее, хоть завтра. Не надо бы ей одной. Так они же с мужем моим поубивают друг друга... Да и не поедет она. Характер.

Мила курит в вытяжку. Красивая. Только глаза усталые. Марья Андревна вытяжку никогда не включает, электричество экономит.

— Я там, в шкафчике, лекарство ей положила. И денег. На верхней полочке. Ты проследи тогда. А то она, сама знаешь...

— Конечно, не беспокойся.

— Ну и звони, если что. Мало ли. Давление там, сердце. Только ты потихоньку, чтобы мать не слышала.

— Хорошо.

Мила тушит сигарету в раковине. Я смотрю в окно. Через двор сменит Марья Андревна — маленькая, сгорбленная, целеустремленная. Платок сбился. Худенькие ножки, большой круглый живот, красное лицо. В руках по огромному полиэтиленовому пакету. Тяжелые.

Она поспешает, стоически несет свою трудную ношу, и пакеты почти касаются земли.

Вячеслав Харченко

Принес пользу

Из иных миров

У Ирины, технического директора компании, нашли рак, а на ней все висит. И база данных, и электронный обмен, и автоматизированная система. Ничего не описано. Наняли писателя. Он ходит за Ириной и все кладет на диктофон, а потом расшифровывает в техническую документацию, чтобы и чайнику было понятно. Ирина мотается с писателем и глотает таблетки, снимающие боль. За два месяца такого описания системы удалось восстановить все данные. Теперь программисты без Ирины смогут сами кодировать программы. Но иногда работа замирает. Это Ирина лежит на курсах химиотерапии. Когда Ирине стало совсем плохо, она улетела к родителям в Соликамск. Там есть онкологический центр.

Сейчас, через семь лет после ее смерти, я иногда встречаю в машинном коде самые необходимые Ирины комментарии и вздрагиваю. Словно из иных миров тебе передают добрый и нежный привет. Словно смерти нет.

Ёё

Бессловесный мальчик Ваня лежал в нашей психиатрической лечебнице. Ходил между столовой и палатой и говорил только «Ёё». Наклонится над чаном с компотом и скажет: «Ёё», повернется к цветам на окне и зашепчет: «Ёё», поставит ему медсестра в ягодицу укол, а Ваня: «Ёё».

Вся палата любила дать Ване подзатыльника, разбегутся со всей скоростью, и хрясь Ване по уху. Так каждый и делает (кроме Ибрагима), а Ваня только: «Ёё».

Ибрагим был стройбатовец из горного аула, говорил по-русски с трудом. Лежал на кровати, спал после уколов или отворачивался к окну и смотрел в одну точку, вдаль, словно там не русская равнина, а горный хребет.

Однажды Ваню сильно задергали и он плюнул мучителю в лицо. Стал мучитель его убивать руками и ногами так, что сейчас не станет Вани. Но тут встал с кровати Ибрагим и сунул мучителю под дых. Ибрагим был высокий, двухметровый, и его никто не тронул. Побоялись. И Ваню после этого случая оставили в покое.

Теперь Ваня везде ходит за Ибрагимом и носит его сигареты и зажигалку. Принесет, положит на тумбочку и скажет: «Ёё».

Рыбный магазинчик

В Люблино, на пересечении проспекта 40 лет Октября и улицы Судакова, в последнем подъезде пятиэтажного кирпичного дома, на первом этаже расположился рыбный магазинчик.

Там лежит сушеная корюшка с Дальнего Востока, соленая семга и форель из Мурманска, копченый кальмар в сетке, атлантическая сельдь, жирный расплзающийся палтус, сальная, в четыре пальца толщиной, масляная, вобла с подмосковных прудов, перевязанная веревкой зубатка холодного копчения, норвежские креветки и зеленая морская капуста на развес. Ни одна мясная лавка не вызывает во мне столько восторга, как рыбный магазинчик.

Когда едешь с Нижних полей в троллейбусе семьдесят четыре из бани и везешь огромный баул принадлежностей: драный халат, использованный веник, махровое полотенце во весь рост, войлочную шапку и брезентовые рукавицы, то выйдешь на остановке и пойдешь в магазинчик за воблой, выбрать духмяно пахнущие рыбешки из кучи, наваленной возле кассы. Чтобы можно было дома аккуратно налить тонкой струйкой в высокие стеклянные бокалы, вынесенные из спортивного бара «Спартак», пиво «Миллер», вынутое из холодильника, а рядом на столе, на бесплатной газете «Мое Люблино», почистить две-три рыбы тушки, отправляя котам на пол головы и плавники. Когда разложишь почищенные кусочки рыбы на столе, отправишь пяток в рот, прожужешь и зальешь пивом напоследок, то радость жизни посетит тебя в полный рост.

Рыбная лавка с продавцом на весах единственная в округе. Нет, есть рыбный отдел в универсаме «Наша марка», но там все запаяно в пластиковые упаковки, порезанная скумбрия не имеет дымного запаха и не разваливается в руках, как домашний творог. Еще имеются рыбные лотки в супермаркете «Паттерсон», но от них несет бездушностью и безликостью: продавцы развешивают рыбу молча, как автоматы, не поговорить с ними, не узнать качество рыбы. За блестящими пакетиками и мешочками не определить, выловлена ли рыба вчера или уже два месяца лежит в морозильнике на складе в Люберцах.

Нет ничего страшнее для меня, чем смерть этого маленького, малоприметного магазинчика от постоянного пресса международных торговых сетей. Расставляют они свои бункеры с пресным, безвкусным сырьем по всему району, радуются из-за того, что к ним течет переманенный покупатель, обслуживают они покупателя, как на конвейере Форда, а я с сердцем хочу.

Чтобы войти не спеша в малолюдную комнатку, заваленную свежей рыбой. Чтобы выстоять небольшую очередь. Чтобы поговорить с продавщицей, откуда и какого качества селедка. Чтобы из деревянной бочки выбрать рыбку, приглянувшуюся мне. Чтобы рыбку забросили в прозрачный полиэтиленовый пакет. Чтобы на прощание сказали: «Приходите еще, Вячеслав Анатольевич, завтра будет малосольная горбуша».

Каждый раз, когда я прохожу мимо рыбной лавки, то с трепетом смотрю, цела ли она. И если горит свет в окне, если таскает подносы грузчик Ибрагим, то я удовлетворенно вздыхаю и прохожу мимо, чтобы не спугнуть удачу.

Птичка

1.

В детстве мы ловили рыбу возле дедовского дома в реке Бире, но за золотым карасем ездили с ночевкой на мотоцикле за двадцать километров, к старой заводи. Уже с утра начинались сборы. Дед лез за спиннингами и закидушками в сарай; распутывал резинку с крючками, растянув ее в огороде; чистил котелок для ухи; осматривал зеленые, с кусочками засохших водорослей сети; проверял, нету ли в палатке дырок; долго и тщательно ощупывал мотоцикл, бил сапогом

по шинам и слушал, как работает двигатель. Дед сидел на крыльце, пыхтя беломориной, доставал из кепок поплавки и грузила, пробовал тесто, рассматривал на свет кусочки хлеба и радовался миру, как младенец. Казалось, что это ему в первую очередь привалило счастье, а не мне, малолетке. Что сейчас он вырвется от бабки, от грядок, от работы и полетит на бреющем полете над водной поверхностью, обернувшись мелкой, суетливой, беспокойной птичкой, нырнет в толщу воды, чтобы разведать, где находятся стаи знаменитых пятисотграммовых золотых дальневосточных карасей, которых так любила жарить в сметане бабка.

Я копал в протоке жирных бордовых червей, укладывал еду, носил легкие баулы и наблюдал, как люлька мотоцикла постепенно заполняется рыбацким скарбом, а лицо деда светлеет от неведомой энергии, плечи разпрямяются, руки набирают силу.

Потом мы, надев мотоциклетные шлемы, с ветерком стремили к старой заводи, наши кудри выбивались наружу и стрекотали под ласковыми потоками воздуха. На горизонте стрелой вставала река, и ее темные, грубые берега, заросшие ивой, бередили душу, которая томилась от нетерпения. Где же, где же первая рыбка? Когда же на толстой леске закидушки зашевелится водяное чудище и плюхнется всей массой на дно резиновой лодки? «Не трожь, Славка, не трожь», — кричит дед и начинает осторожно вынимать крючок из верхней губы карася, чтобы я не поранился или не зацепил одежду. Рыба прыгает по резине, стараясь выскочить за борт, дед бьет ее кепкой, а я радостно хохочу, раззявив в небо детский, редкозубый рот.

Плаваешь, плаваешь по заводи все утро, пока рассвет из розового красавца не превратится в яркое, обжигающее светило, да так и уснешь под кустом в ожидании вечернего клева. «Спи, Славка, спи», — говорит дед и подкладывает мне под голову скатанный, штопанный-перештопанный пиджак.

Вечером наблюдаю, как в тазу копошится рыбная биомасса, как головы в слизи открывают рты в поисках глотка воздуха, как красные зрачки карасей немигающе уставились на меня, ища спасения. Вот сейчас под ударом железного немецкого трофейного ножа полетят в лханку кишки, заскрипит липучая чешуя, и побежишь в детскую, пряча слезы от взрослых.

2.

Дед возил меня на рыбалку все детство, но я уехал в Москву и не был в Биробиджане двадцать лет. Не хватало денег. Когда я вернулся, деду было восемьдесят. Он не ездил за рыбой уже десять лет и не притрагивался к мотоциклу. Мрачно лежал в предбаннике на тахте, курил «Беломор», мучил кота и кормил хлебом голубей.

— Ты что, ты что? — кричала бабка. — Какая ему рыбалка?! Пусть лежит на печке, и так еле ходит.

— Отвези меня, Славка, на старую заводь. Пусть я там умру, чем здесь голубей кормить, — спорил дед.

Я долго думал, а потом вывел мотоцикл (хотя и старый, но на ходу), просушил палатку, свернул резиновую лодку, купил в ларьке червей, зарядил спиннинги. Я приехал с дедом к берегу реки. Мы сидели в мотоцикле и смотрели, как в тумане мимо нас проплывали лодки, стремили бревна и палки, копошились утки, и казалось, что давным-давно жизнь отсюда истекла в неизвестном направлении и только мы, как усталые и постаревшие бродяги, ищем что-то на свою голову. Я наладил деду спиннинги, а сам надул лодку и уехал вниз по течению искать золотого карася. Когда я вернулся, дед лежал у костра, спиной к воде. Какая-то страшная дрожь сотрясала его тело, а из груди доносились хрипы и стоны.

— Не умирай, дедушка, не умирай, — плакал я и вспоминал обрывки каких-то молитв, которые никогда не знал. Я смотрел в небо и с трудом удерживал дрожь, сотрясающую деда. В этот миг мне хотелось, чтобы он, прошедший две войны и блокаду, не умер на берегу этой старой забытой заводи. Хотя сам-то дед, конечно, предпочел обернуться малой птичкой и нырнуть под воду, чтобы в холодной коричневой толще искать стаи золотых дальневосточных пятисотграммовых карасей. Плывет такая птичка, водит во все стороны клювом, как завидит рыбку — свистит, пищит, верещит, радуется жизни.

Убийство!

Я должен был встретить день рождения жены, и поэтому пошел на рынок, чтобы купить угощение гостям — теще и тестю. Я долго выбирал мясо, но в конце концов приобрел живого карпа на четыре килограмма весом, чтобы зажарить его в сметане. Принес

рыбу домой и дал Наташе: «На, разделявай», — но жена закричала, что никогда никого живого не убивала. Мне этот процесс был тоже противен, и стали мы думать, как безболезненно умертвить карпа. Ударить током? Задушить подушкой? Утопить в подсолнечном масле? Заморозить во льду? В общем, положили рыбу в морозилку и ушли в гостиную.

Через два часа достали карпа и стали счищать чешую, а он вырвался из рук и запрыгал по кухне. Мы в страхе убежали в ванную и заперлись там на шпингалет. Сидим, курим, горюем. Но тут пришел тесть, достал из высоких ботинок со шнуровкой армейский нож и одним резким движением отсек карпу голову. Вишневая кровь закапала по разделочной доске прямо на пол. Теща взяла карпа за хвост и стала его чистить, а потом разрезала на куски, залила сметаной и поставила в духовку. Мы только скорбели.

Осетр

Я никогда не ел осетра. Точнее, съел два кусочка на годоводних корпоративах. Один в 2006 году, один в 2007 году, а в 2008 году корпоратива из-за кризиса не было и я остался без кусочка осетра. Я часто вспоминал вкус осетра, как он пахнет, как мнутся в руках волокна рыбы.

Без ничего, но я в обеденный перерыв повадился бегать на Дорогомиловский рынок, пить свежавыжатый сок. Когда идешь к столу с соками, то проходишь ряды осетровых: белуга, калуга, севрюга, шип, стерлядь и собственно осетр. Стоит терпкий запах копчения. Так и хочется укусить побольше, но сдерживаешься, потому что денег нету. Так продолжается уже пять лет, и в конце концов я плюнул и, получив зарплату, отдал ее треть за два килограмма осетра. Я предвкушал, как дома обрадуются жена, дети и коты.

Дома жена пересчитала деньги и спросила, где недостающие, но я вынул пахнущий рыбой сверток и показал его домочадцам, потом развернул целлофан и нарезал рыбу. Все надкусили бутерброды и яростно зажевали. Потом со всех сторон раздались крики: «Это самая обычная рыба, ты нас разыгрываешь, она ничем не отличается от судака, верни, папа, деньги, мы это больше не будем есть. Не осетр, а бе-бе-бе».

Я доедал осетра в одиночестве в течение месяца. Под конец я уже не мог, но боролся с самим собой. Я ел его и думал: «Лучше бы я купил

десять килограммов форели или палтуса». Дети, жена и коты прыгали вокруг меня и говорили: «Лучше бы ты, папа, принес нам денежки».

Тюльпаны

Я шел по сентябрьскому Коктебелю и думал, что уезжаю в Москву, а подарков не купил. Приобрел брату швейцарский нож, отцу ракушку-пепельницу, жене бусы из крымского камня, а маме ничего не купил. Но тут я увидел продавца луковиц тюльпанов. Он стоял на улице Десантников около кафе «Алые паруса» с развернутым ватманом, на котором красовались фотографии цветов. В руках торговец перебирал рыжие луковицы размером с куриное яйцо и громко выкрикивал сорта. Я стал разглядывать картинки. Вот бордовые, почти черные Кафе Наир; вот махровые, как ванное полотенце, Пич Мельба; вот красно-желтые Кейп Код. Я долго размышлял, но потом купил луковицы. Всю дорогу в поезде я думал, не обманул ли меня ловкий торговец, вырастут ли южные сорта в подмосковной земле, понравятся ли цветы маме.

Тюльпаны сажают в октябре, на десять сантиметров в мягкий, еще не мерзлый грунт. Луковица зимует под снегом, а пойдет весеннее тепло — наружу вырастает зеленый стебель. Бутон тюльпана под слабым солнцем набирается цветом, а потом раскрывается на радость садоводу, чтобы дарить людям счастье. Тянется, тянется в небо стрела, ярко светится цветок.

11 мая 2009 года, в понедельник, мне позвонила мама. Она сказала, что тюльпаны уже взошли: черно-бордовые Кафе Наир, махровые Пич Мельба и желто-красные Кейп Код. Теперь она не ложится спать и ждет, когда я приеду, чтобы увидеть красоту. Самое главное, чтобы ничего не стащили соседи, не поели собаки и кошки. Но я не мог сразу приехать, потому что работаю в офисе, и поэтому поспешил в субботу, когда массы дачников до отказа набивают вагоны электричек. Я долго терся в толчее, потом трясся в маршрутном такси и только к вечеру попал на грядку. Все тюльпаны облетели. И бордовые, и махровые, и красно-желтые. Только отдельные лепесточки валялись на майской земле.

«Ничего, — сказала мама, — не горюй. Зато у нас теперь на будущий год есть луковицы. В Коктебель можно не ездить».

Гумберт Гумберт

Лолиту я прочел в двадцать лет, и меня ничего не удивило. Но сейчас мне тридцать восемь, и я поражен, что Гумберт Гумберт ничем не болел. Каждый мужчина средних лет скажет, что у него есть одна-две неизлечимых болезни, избавиться от которых можно только с помощью смерти. Гумберт Гумберт же спокойно управляется с Лолитой, с мамой Лолиты, ездит на автомобиле по всей Америке, ночует в занюханых отелях, и хоть бы хны. Хоть бы кашель или температура, я уж не говорю про более серьезные патологии, вызванные бурной сексуальной жизнью. А ведь в фильме Джереми Айронсу пятьдесят лет, но в принципе могло быть и тридцать, потому что Лолите двенадцать.

В тридцать лет болезней может и не быть, но все равно как-то не верится.

Принес пользу

Я написал книгу коротких историй, распечатал ее в двадцати экземплярах и стал носить по издательствам и толстым журналам. В журналах мне сказали, что слишком коротко, а в издательствах просто рассмеялись, потому что берут не рассказы, а романы. Я пришел расстроенный домой, свалил в гостиной в угол четыре тысячи распечатанных страниц и лег на диван горевать. Я почти плакал, а коты весело скакали по бумажной куче.

Но тут подошла жена. Она вручную варит мыло, делает духи и по всему миру рассылает свои достижения в посылках таким же сумасшедшим теткам — мыловарам и духоделницам. Наташа попросила мои листочки с рассказами, чтобы скатать их в комочки и вложить в пустое пространство посылочных ящиков. Так пузырьки не гремят при перевозке. Я подумал и обрадовался. Пусть моя писанина пойдет на пользу обществу. Теперь сумасшедшие мыловары и духоделницы пишут мне письма — Рим, Нью-Йорк, Париж, Дакар, Рустави. Они ценят короткие истории.

ПОЭЗИЯ



Ольга Нечаева
Всеволод Константинов
Мария Фаликман
Анастасия Ануфриева
Андрей Егоров
Инга Кузнецова
Александр Переверзин
Элина Сухова
Елена Лапшина
Елена Дорогавцева
Евгений Лесин
Алексей Кащеев
Евгения Тидеман
Анна Аркатова
Лета Югай
Александр Герасимов
Елена Исаева
Наталья Полякова
Леша Ефимов

Десять молодых лет

Немало их, талантливых поэтов, которые заняты только собой. Пожалуй, даже большинство. Потому редкость, когда известный поэт печется о своих младших братьях. И «не по службе, а по душе». По службе — на своем веку я видел с десяток деятелей, отвечающих за «работу с молодыми», а толку?

Римма Казакова, хотя и была при исполнении обязанностей, сердечно радела за молодых. Она придумала ежегодные Переделкинские совещания, она изыскивала необходимые средства, вникала во все организационные детали, но прежде всего — занималась щедрой раздачей поэтической энергии, сиречь — душевной.

И вот прошло десять лет, и каких лет!

Да, поэтов стало больше, да, читателей стало меньше, однако — и это стоит дважды подчеркнуть! — стало больше *настоящих* поэтов, лучших, чем в прежние («брежние») годы, пусть и широко известных в более узких кругах... Время другое. Стадионы остаются за футболом, поэзия вернулась к своему призванию — поискам сердечного друга, понимающего собеседника...

Разразилась свобода. Каждый пишет как хочет, если что — сам себя печатает на ризографе или в Сети. Поэтическое пространство стало походить на расширяющуюся вселенную, ее не охватить. К началу нового века мы получили все крайности. И маски Пригова, и энигмы Айги, и тексты Рубинштейна, и эскапады Родионова, и скандалчики Шиша Брянского...

Какое место во всей нынешней разноголосице занимает московское («переделкинское») сообщество молодых поэтов, «деток» Риммы Казаковой? Достойное. Десять лет не прошли даром. Многие из вчерашних молодых вполне и решительно состоялись. За ними пришли другие, которые только собираются взрослеть.

В этих заметках я хочу лишь несколькими штрихами обозначить особость данной поэтической группы и при этом — ее свободу от групповых пристрастий. Сия оркестровка создалась благодаря камертону Риммы Казаковой и ее сподвижников.

В чем особость? В здоровой основе, в любви к родному слову, в отстранении от патриотистских спекуляций — с одной стороны, сухой формалистической игры — с другой. В остальном же — полное разнообразие. Чтобы заранее обозначить сказанное, вырываю наугад по несколько строк — дальше сами прочтете...

Серьезная, даже слишком серьезная Елена Лапшина, классический звук ее струны:

...И на лунном полу —
полуночном балу —
стань на цыпочки, девочка, воображай —
закружи, завораживай — не возражай! —
продолжай, продолжай, продолжай...

и ироничный, даже саркастичный Евгений Лесин:

Марш согласных.
И марш несогласных.
Не встречать бы ни тех, ни других.
Но Россия одна. И опасна.
И не очень-то любит живых.

драматическая густая напряженность Элины Суховой:

Наш дом встает просторным и крылатым,
Каленым жаром пышут обе печки,
А в Новый Год пишу и жгу на свечке
Желанье: чтоб я маленькой осталась,
Чтоб ничего на свете не менялось.

и гармоничная прозрачная глубина Елены Исаевой:

Я у всей вселенной на виду
Собираю яблоки в саду.
Как судьбу, любое находи:
Вариантов — много, рай — один.
В нем — все ясно, празднично, пестро...
Но случайно покачни ведро...
Яблоки покатаются туда —
Через горы, через города...

и пронзительное чувство природы Евгении Тидеман:

закрой глаза. ничто не повторится.
тропа сама выходит на залив.
весну поют, вытягиваясь, птицы
и пьют ее из льдин береговых.

и элегическая бытовая живописность Александра Переверзина, болевые вопросы женской судьбы у Елены Дорогавцевой, и гибкий лаконизм Леты Югай:

Когда время падает до нуля,
мы уходим во внутренние поля,
разбреемся по долам.
В это время комната как Земля.
Мир ее четырем углам.

и изящный якобы верлибр Марии Фаликман:

И добавить немного любви — это надо уметь. Это надо иметь небольшой, но надежный запас и не думать, что кто-то возьмет и добавит за нас. Может, кто-то возьмет и добавит, но это, заметь, слишком надвое. Впрочем, чего наш читатель не съест...

и артистизм современного ямба у Инги Кузнецовой:

Пришла зима, похожая на осень.
Колеса надеваются на оси,
как встарь, но только катятся — куда?
Открой же эту книгу посередине:
там я стою челюскинцем на льдине,
кругом — вода.

Совершенно логично и справедливо, что была учреждена для молодых писателей премия имени Риммы Казаковой. И неудивительно, что первыми лауреатами стали поэты. Наталья Полякова, трепетная и умная, остро переживающая изгибы женской судьбы:

в жизни моей от природы женской
много делается по-мужски
свет блуждает за занавеской
мечутся мотыльки
паутина попала в полоску света
нити ее тонки
ночи прохладные на исходе лета —
не отнимай руки

И Александр Герасимов, наделенный гражданской отзывчивостью, активной жизненной позицией.

Сколько ходили гости,
Те, что татар хуже...
Саван Сибири далеко,
Короток разговор.
Где-то теперь их кости?..
В какой фронтовой луже?
Знает лишь третье око
Под бровью Уральских гор.

Как бы радовалась Римма Казакова становлению ее любимцев!

Я бы всех цитировал, но не отнимать же у читателя собственных открытий!

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Ольга Нечаева

* * *

Уроните меня под лед,
Придавите меня водой...

Вл. Авесов

Вышел в люди — никого не нашел
И отправился вперед наобум.
Там поспешно накрывали на стол
И устраивали праздничный шум.

Оказался там не узнан, не зван,
Не татарин — так, седьмая вода.
И был вылит в подходящий стакан.
И был выплеснут затем в никуда.

И потек по бесконечной стране,
Кровной каплей стал в ее родниках,
Но она не покраснела и не
Удержала незнакомца в руках.

Так и плыл себе — чужак чужаком,
Размышлял о неудачной судьбе,
Выпадал из поднебесья дождем,
Тарахтел по водосточной трубе.

Ну а высох — и пропал без следа,
Не остался даже грязным пятном.
А бескрайняя страна никогда
Ничего не вспоминала о нем.

* * *

В пыли и скалах под очень чистым небесным сводом
Паучий город раскинул сети и ловит море.
Вот над прибоем стоит пришелец, глядит на воду:
В движеньях нега, в зубах окурок, тоска во взоре.

Хрестоматийно белеет парус, и ветер свищет,
И мачта гнется, и как ей гнуться не надоело...
Вздохни свободней, шагни подальше — никто не сыщет,
Да как отыщешь в таком просторе чужое тело?

Но будет биться вот здесь, левее, пониже горла
Соленый, влажный комок и будет сочиться алым,
И не отпустит тебя, какая б волна ни стерла
Твой след на этих спокойных, твердых, надежных скалах.

Следи устало за сменой красок, игрою линий.
Сядь поудобней и подбородок уткни в коленки
И равнодушно гляди за море, туда, где синий
С лазурным цветом, сходясь, теряют свои оттенки.

* * *

память не вечна когда-нибудь все позабудет
было ли не было нам-то забота какая
если обещано времени больше не будет
и улетает твоя разноцветная стая

шрамы затянет и станет нисколько не страшно
канет в пустые глазницы случайное семя
стеблем вернется посмотреть как легко бесшабашно
вдаль убегает спешит неумное время

нет языка но терзает фантомное слово
бьется о зубы и просится выйти наружу
что ж отпусти не отпустишь не будет другого
пусть погуляет пусти его в зимнюю стужу

* * *

нет ничего что можно потерять
нет ничего что можно обрести
в бесплодной жизни век мне вековать
измятыми бумагами трясти

читать чужие дивные слова
считать ворон в облезлых небесах
прислушиваться как растет трава
но слышать только тиканье в часах

течет вода меж пальцев так легко
не замечая никаких плотин
подумаешь до смерти далеко
но смерть одна и ты совсем один

потеряно посеяно в пыли
не вырастет не обретешь назад
все вышли утонули корабли
остался длинный перечень утрат

* * *

Не удержать в себе имени и судьбы —
Все протекает сквозь жадное решето.
Что же теперь жалеть: если бы да кабы...
Вот и выходит все как-то не так, не то.

Чувствуешь, как следит неутомимый глаз?
Слышишь небесный хор или вороный грай?
Кто-то сближает нас, соединяет нас,
Кто-то сшивает нас, наскоро, через край.

Пятками по стеклу и головой об лед —
Только б прорваться сквозь, выйти на белый свет.
Кто же сшивает нас? Ты погляди, снует
В божьей руке игла. Только вот нитки нет.

* * *

Допустим, как поэт во мне не помер,
Того гляди, какой отколет номер,
Того гляди заявится в ночи:
Так, мол, твердит, положено поэту.
А там пойдет себе искать по свету,
Где обронил пенсне или ключи.

Допустим, как поэт умру не вся я
И часть меня останется живая.
Но что придется делать с ней теперь?
Смотри: ни то ни се, ни рук, ни ножек,
Не схватит рюмку, не удержит ножик,
Не выглянет в окно, не выйдет в дверь.

Так что поделать? Ничего не ново.
Привычка прицеплять за словом слово,
Тяжелым колесом катить вперед.
Вот я — еще с руками и ногами —
Болтаюсь меж землей и небесами
И бестолково разеваю рот.

* * *

Вот мое ремесло: все слова да слова,
Не крестом вышивать, не плести кружева,
Не иголку сжимать в онемевшей руке —
Но шептать-бормотать на родном языке.

.....

Я почти научилась писать по воде,
Отворять ворота подходящей беде.
Ни о чем не печалься и счастья не жди.
Над моей головой целый месяц дожди
Барабанят по черному небу зонта.
Из кривого, но крепко пришитого рта

Вылетают слова и ложатся в тетрадь.
Так больной человек вползает в кровать
И лепечет: умру. Он покорен и слаб.
За душою маячит седой эскулап.

.....

А характер — что почерк — с годами скверней,
Да осеннее небо темней и темней.

* * *

Покуда мы живы и водка не стала водой,
Пока не разменян последний заветный пятак,
Все беды и горести нас обойдут стороной,
Хотя не сложилось и вышло не то и не так.

Приемник на кухне бормочет о новой войне,
Шипит и пугает, египетской казнью грозит.
Заткни ему рот и давай посидим в тишине,
А то не услышим, как время по венам скользит.

Оно ускользает — его не удержишь никак.
Холодное небо нависло над краем земли.
Ничто не сложилось, все вышло не то и не так,
Моря пересохли, рассыпались в пыль корабли.

Растет расстоянье — рукою уже не достать.
Сгущаются сумерки — я не увижу лица.
Но память ложится на сердце мое, как печать,
Уводит меня и пребудет со мной до конца.

Всеволод Константинов

Ягненок

Все посыпано густо полынной солью,
Мы искали ягненка, не пришедшего к стойлу, —
Мальчик, девочка, мальчик — под темнеющим небом.
Запаслись мы мечами, а девочка хлебом.
Может, он заблудился в деревне? — Едва ли.
Мы за реку в сырые луга побежали.
Мы увидели цаплю в багряных болотах,
Мы увидели крысу на старых воротах
У заброшенной фермы, и дверца скрипела,
Открываясь в тот мир, где не видно предела
Запустению, скорби, мольбе и утратам,
Где не каждый закат называют закатом.
Мы взглянули туда, петли всхлипнули тонко,
Мы потом уже шепотом звали ягненка.
А в лесу будто все наши ночи чернели,
Но пока их держали передние ели.
Мы взбежали на холм и назад оглянулись,
И деревни огни чуть заметно качнулись —
Там петух не кричит и собака не лает —
Словно это корабль в тишину отплывает.
Отплывает без нас! Нас оставили в спешке!
Мы скатились с бугра, как с ладони орешки
В молоко, в ивняковые хлопья тумана,
Сквозь холодное пламя речного бурьяна.
Мы терялись, сжимались от боли испуга
И впервые по имени звали друг друга.
А ягненок, с которого путь начинался? —
Он нашелся без нас, может быть, не терялся.

* * *

Я можжевельник из лесу принес,
Не знаю, приживется ли, — он рос
В тени, был защищен стволами елей
От ветра, от мороза, от метелей,
От прочих неожиданных вещей,
От солнца чрезмерного лучей,
Хоть солнца-то у нас везде немного,
И лес недалеко его родной,
Но тут другое все: овраг, дорога,
Открытый склон и ветер продувной.
Но там ему бы вскоре стало тесно
Тянуться сквозь еловый бурелом.
Где лучше? — разве это нам известно,
Туда, где ждут, поэтому идем.

* * *

Уже и первый снег непропеченный
Улегся наземь — неприятный сон,
Как черный чай с водой некипяченой
И белого будильника трезвон
В соседней комнате — не за тобою?
К кому же это все обращено?
Пока поймешь! Пока над головою
Не побелеет шапка. Так оно
Приходит знание, значит, — между делом.
Снег уравнил луга, поля, леса
В намеченном порядке черно-белом,
Но сохранили цвет свой небеса,
Преобладая, как душа над телом
И как над письменами голоса.

* * *

Мои ботинки на подошве твердой,
Как щит и меч стоящие в углу,
Намывами на коже перетертой
Соединили двух морей волну.
Рубцами вас пометила дорога;
Свивая след в тумане и в пыли,
От Черного до Белого порога
Вы, как до дома дальнего, дошли.
Но я хочу поставить вам в заслугу
Не то, что привели сюда меня,
А что переносили вы по лугу
Пыльцу цветов, растений семена.
Случайные садовники, едва ли
Природа бы управлялась без вас —
Ведь ни шмелей, ни пчел мы не встречали
В тех чашах, по каким носило нас.

* * *

Каменистый пляж, волны, волнорез,
звездный холодок и стены отвес,
черный, как пейзаж, человек у волн
ходит с бечевой, на бечевке — вол:
белые рога, грива, плечи, торс,
пена у копыт, водорослей ворс.
Справа море, где ходят сейнера.
Море как удел, черная нора —
нету берегов, космос, пустота,
только этот пляж — зябкая черта
между тем и там, чортом и зимой.
Человек и вол шли к себе домой.
Вол хотел понять, человек — забыть,
что и почему нужно им избыть.
Соль и йод и тьма стерли их тела.
И волна ушла, и волна пришла.

* * *

К полночи отчаянье тепло
Подтолкнет ладошкой шестипалой,
Выхожу, и птица тяжело
От Большой Медведицы до Малой
Пролетит и сядет на шесте
Над гречишным белотканым полем,
И подскажет кто-то в темноте:
«Ты утешься, мы ведь не неволим.
Все безосновательно, матрос,
Жизнь твоя разболтана донельзя,
Слишком человечиной оброс,
Напоследок мужеством налейся.
Ты ведь сам ворота отворил!
Ты ведь сам в мои потемки вышел!»

Голос очень тихо говорил,
Я и половины не расслышал.

Мария Фаликман

* * *

А. М.

Чем короче шаг, тем насыщеннее строка.
Не спеши пока, погуляй, подыши пока,
погляди, какая нынче весна смешная.
И на каждый шаг хоть что-нибудь да приметь:
чтобы мерить шагами день, ни к чему уметь
рифмовать, рукою щедрой слова мешая.

Этот день — он вмещает тысячи мелочей.
То ручей, то трудяга-шмель, то щенок ничей,
в тополиных чешуйках лапы и в пятнах краски.
Он несется вперед, распугивая ворон,
этой первой своей весною ошеломлен.
Да и ты ступай, чего тут стоять без каски.

И куда тебя шаги твои ни вели б:
в пятистопный ямб, в классический ли верлибр, —
не тушуйся, шагай как выйдет — и будь что будет.
Потому что весна — она ведь во всем весна:
не смотри, что строга, прижимиста, холодна, —
от ее щедрот и мне, и тебе прибудет.

Посему подожди пока подводить черту.
Не держи до поры монетки медной во рту,
даже если гулять отправишься до конечной,
где теряется день за зыбкою пеленой,
среди сердечной смуты ночной, полумглы свечной,
где поет о своем, о вечном, сверчок запечный.

* * *

О. Г.

...и добавить немного любви (без нее — никуда).

Но не той, что в подъезде, между вторым и третьим этажом,
и не той, что в купе, пока попутчики спят на своих верхних полках,
и уж тем более не той, что по телефону на бегу с одной работы на другую,
что-то вы, барышня, стали слишком разборчивы,
да и со строфической никак не определитесь, а все потому,
что немного любви — это вам не фунт изюму.

И даже не изюминка, которой, к слову, так не хватает вашим сочинениям.
А совсем другое дело.

И добавить немного любви — это надо уметь. Это надо иметь небольшой, но надежный запас и не думать, что кто-то возьмет и добавит за нас. Может, кто-то возьмет и добавит, но это, заметь, слишком надвое. Впрочем, чего наш читатель не съест. Это, знаешь, как шарики сверху на кабриолет, лимузин, кадиллак, или в чем еще возят невест, нацепляют — и вот тебе, девочка, звездный билет, и немного любви, и немного смешной суеты, словно дело и впрямь на вокзале. Ну ладно, лети, можешь взять с собой сменные туфельки, маму, цветы, а шары отпусти. Непременно потом отпусти, чтоб наутро не морщились, словно лежалый урюк, не свисали с капота гроздьями несвежих носков, нет уж, пусть полетают, пока еще рвутся из рук. Ты прости, но в сегодняшней сказке сюжет не таков, чтобы вышло без них. Ибо в каждом — немного любви, за которую платят свободой на небеси. Увязался за облаком? Хочешь не хочешь — плыви. Зацепился за дерево? Хочешь не хочешь — виси. Вот они и плывут, и с размахом античных богов повисают в окне у тебя вместо звезд и планет. А по лестнице — слышишь? — знакомая россыпь шагов. А на завтра, сказали, билетов по-прежнему нет. И работы по-прежнему нет ни одной, ни другой, между пятой, шестой и седьмой не забудь позвонить, написать «Обнимаю», махнуть на прощанье рукой и добавить немного любви. Без нее — никуда.

Ну хотя бы задумайся, чем нам ее заменить.

Ночь

Только и дела тут в темноте, что рифмовать темноту и тщету,
рифму не ту и слова не те перекатывая во рту.

То за окном проскользнет авто, фарами шаря по потолку,
то заморгает фонарь, а то в левом кольнет боку.

Ветер метнется по мостовой и заспешит, зашуршит листвою.
Тут и проснется читатель твой, критик румяный твой.

Рифму он пробует на зубок, жалея, что зубы уже не те.
Левый бок и Всевышний Бог рифмуются на кресте.

Сядь на скамейку и жди суда, думая: лишь бы не стал держать,
лишь бы уже отпустил туда, где можно в траве лежать.

Стало быть, хочешь — лежи в траве, нимф окаянных увещивай,
хочешь — метафоры по канве крестиком вышивай.

Или на глине, на бересте выведи летопись этих мест.
Рифмы не те и слова не те отмолятся. Вот те крест.

Да и читатель здесь не чета тем, что приходят к тебе во тьме.
Даже тщета у него не та, особенно по зиме.

Там — коченей по утрам в авто, тут — выбирай, что считать за труд.
Нимфы как дети, из них никто не спросит, почем берут,

и не изменится ход светил ни на твоём, ни на их веку —
Тот, на кресте, за всех заплатил ржавым копьём в боку.

Даже за то, чтоб ты в темноте сквозь маету различал едва
рифму не ту и слова не те и слова не те и слова

Антоновка

Антоновка, видишь, такая, что сводит скулы.
Ну да, на любителя. Не обижайся, детка.
Такая растет за забором соседней школы,
до самой земли изогнулась нижняя ветка.

А ты за антоновкой едешь намного дальше.
Три дюжины лет миновало, а ты все едешь.
На старой своей, на богом забытой даче
ровесницу-яблоню робко кругом обходишь,

и каждое яблоко — словно письмо оттуда,
где мало-помалу за лето смуглела кожа,
где прямо под яблоней сохла весь день посуда,
и пахло вареньем, и временем пахло тоже.

Как рыба в ведре, на рассвете дачники снулы.
Погода меняется — что им теперь погода?
Гудит электричка. Мучительно сводит скулы:
зеленое яблоко катится вдоль прохода.

Август

Тонкая паутинка — словно волос седой. Двор застыл, как картинка, в луже с темной водой. Скучно? Вот тебе комикс — целая россыпь луж. Сам себе незнакомец, что же, попробуй, сдюжь, стоя у крайней лужи, глядя туда в упор, вяло думая: ну же, где ты был до сих пор, впрок конопатил уши, свой безопасил тыл, место искал посуше, к лужам не подходил. Гладь тиха и пустынна, тих и докучлив страх: что там за паутина в спутанных волосах?

Хоть бы и паутина — что ж ты не сводишь глаз? Дерево, дом и сына — был тебе соцзаказ. Угол в съемной квартире, кактусы на окне. Ляжешь часа в четыре, их же видишь во сне. Что-то запишешь в строчку, выберешься во двор, катишь по лужам дочку, младшую из сестер. Катишь, гладь рассекая — долго еще катать. И снизойдет такая ясная благодать, словно вымолил света в этом чужом дворе, словно все еще лето в главном календаре.

* * *

Бежевых, парчовых, палевых, лисьих
сумерек пора настает слепая.
Голуби пасутся в кленовых листьях,
нехотя по листьям переступая.

Парами собаки гуляют в парке,
парами владельцы курят в сторонке.
Нитями в руке у всеильной парки
тянутся концы поводков. Как тонки

границы между парковыми делами
голубя, собаки, ее владельца.
Знай себе фланируй между стволами,
осенью дыши, на весну надейся.

Знай себе отыскивай в листьях вести,
старые калоши, остатки чипсов.
Статую приметъ, что гуляет вместе
с парочкой собратьев своих плечистых.

Статуям по осени веселее:
в парке облетевшем друг друга видно.
Статуи по осени не болят,
осень в их страданиях неповинна.

Голуби, собаки — другое дело:
что им одряхлевшие командоры,
ножницы и нить в руке огрубелой,
яблоко раздора, сундук Пандоры...

Хрупкая, как корочка льда на луже,
жизнь — и не предложат вторую, третью.
Будьте осторожны. Дышите глубже.
Радуйтесь осеннему разноцветью.

Радуюсь, не внемля печали новой:
сумерек все ближе пора слепая.
Бережно букет уношу кленовый,
Нехотя по листьям переступая.

* * *

Это город с тенями. Тени — его атланты, они же боги.
Сумасброды и недотроги, не помнят страха, не терпят лести.
То одна заведет, нахохлясь, про бессловесные их чертоги,
то другая порой бессонной закружит город с собою вместе.

В этом городе все смешалось: дары Валдая, плоды Агдама,
власти, гости, жильцы времянок многоэтажных, дворцов дощатых.
А в конце Тверского бульвара в газетной будке такая дама,
что сошла б за Анну Андревну из начала шестидесятых.

Я бегу по ее Ордынке, смотрю в витрины, топчу окурки.
Нагнала бы свою удачу, да только Бог не играет в салки.
Покупаю молдавских яблочек у осетинки в китайской куртке
и гляжу, как таджик в ушанке диван соседский несет со свалки.

Я сама здесь в гостях: сегодня в одной квартире, а завтра снова
обживать район за районом — наземный транспорт, продукты, скидки,
в новом сквере листочек кленовый, веночек терновый, из песни слова
не выкидывай — пригодится, не все ж гордиться, что их в избытке.

Лучше вглядывайся в прохожих, что город топчут с тобою рядом:
неужели и эти люди когда-то станут его богами,
а покуда как дети рады его кивкам и скупым наградам.
И меня ведь ждала такая между Ходынкою и Бегами.

Я жила здесь немного в детстве. Забыла напрочь. Жила, и точка.
Во дворе, где песок горою, собаки, дети, а надо всеми
пара гипсовых пионерок листает книгу, а видит то, что
начертал хулиган дворовый, проезжий дембель, а может, время.

Анастасия Ануфриева

* * *

Отец, зачем ты выдумал ее?
Зачем ты сочинил еще одну
На карте мира лишнюю страну,
Смешное наваждение свое?

Когда найти уже не может слов
В окоченелой немоте душа,
Ты чертишь, не щадя карандаша,
Неровные изгибы берегов:

Мыс, полуостров, отмели, залив...
Отец, зачем твоя страна тебе?
Что ты исправишь в собственной судьбе,
Все это на бумаге начертив?

Что ты исправишь в замысле чужом
С его неумолимой правотой,
С его непостижимой простотой
Твоим неутоленным миражом?

* * *

Пришел ноябрь, и с ним пришли туманы.
Окончилась Троянская война.
Блуждали корабли по океану,
Как городов грядущих семена.

И я не знал, куда они пристанут,
Где прорастут, когда придет весна,
Не знал о том, что городами станут
И новые получают имена.

Они плывут в просторе вод угрюмых,
Они везут с вином и хлебом в трюмах
Слепую неизбежность торжества.

Они плывут, куда еще не знают,
И своего прибытья ожидают,
Как в детстве ожидают Рождества.

Чистая правда

Все швейцарцы с детства могут
Говорить на иностранных языках,
Потому что у швейцарцев
Никогда и не бывало своего.
Вот рождается швейцарец,
И выходит, и глядит: течет река,
Серебрясь и извиваясь
И никак не называясь для него.

Все швейцарцы с детства знают:
Жить на свете удивительно легко —
Коробок дешевых спичек
И швейцарский синий паспорт в рюкзаке,
И — шагай себе, насвистывай,
Бреди меж облаков и ледников
За альпийскими горами
Говорить на иностранном языке.

* * *

Загадочная вещь — архитектура.
Структура от начала до конца
Оставлена под произвол Творца,
А человек — на ставке штукатура.

Ведь сам собой раствор загустевает,
И форма образуется сама.
Жильцы не размышляют о домах,
А вносят мебель внутрь и обживают.

Дома растут как травы и деревья,
Без направленья и без принужденья,
Свободные от наших директив.

Мы красоты их странной не достигнем
И высоты, им данной, не постигнем,
Всю жизнь свою внутри у них прожив.

Стихотворение без названия

Но нам помочь уже тогда
Не смогут Ожегов и Даль,
Значенье выйдет из дверей
Мертворожденных словарей,

И станет гибкий мой язык
Безволен и косноязык
И больше ни к каким словам
Не сможет рифмы подобрать,

Тогда пространства посреди
Господь оставит нас одних
Коровам, птицам и камням
Давать другие имена.

Андрей Егоров

* * *

часов в пять утра
когда они соберутся у Трона —
святая голытьба народ Божий
в белых одеждах и без вериг
с вербными ветками и Осанной

часов в пять утра
когда ошалев от
всенощного бдения
мы убедимся всё же что небо и земля
действительно новые
и откупоривая бутылки
руками отламывая от ковриги
выкладывая на общий стол сухой паёк
приготовимся праздновать
то ли славное поражение
то ли никчемный триумф

(до последнего думали что времени больше не будет
до последнего думали
что может и впрямь плач и скрежет
а вот:
сидим разливаем спирт а кто-то
уже настраивает гитару)

часов в пять утра
даже в пять ноль две
когда первая стопка
развернется в желудке
теплой пушистой часовой пружиной

к нам
сутулый с запавшими глазами
тоже видно не спал
кутаясь во все свои шесть крыльев
хоть и не холодно вроде
подойдет серафим
вымученно улыбнется — так наверное
улыбались солдатам офицеры от майора и ниже
в мае сорок пятого говоря
победа, товарищи. победа.
не откажется от штрафной
единым духом не изменившись в лице

переведет дыхание
скажет

(голосом похожим на шум вод многих
но отчего-то тихим)

*— Он просил передать
что обязательно подойдет;
вы же понимаете*

да
они так долго готовились
ломали ветки разучивали гимны
а мы
так долго ждали
пождем и еще

* * *

А. Б.

и не любви хотелось — коленей,
чтоб в них уткнуться умною мордой
не любви хотелось — ошейника
с поводком, и чтоб это — предел желаний

не любви, нет, а чтоб по-любому
пережила меня и, жалеючи, гладила;
успокаивала ласково, пока ветеринар
делает укол —
и еще — недолго — после

поэтому
в следующей жизни я буду щенком,
лопоухим, лобастым — а я уже сейчас такой —
и вырасту в большущего собаку,
друга твоего и защитника —

если получится,
пока намокает холстина,
выбраться из мешка

* * *

Это в детстве в три или четыре года
залезть в коробку с игрушками
и мусоля колпачок от шариковой ручки
понарошку пошёл курить на балкон всё ясно
или палка понарошку автомат
или там понарошку лошадь
вырастаешь и игры из безобидных
становятся безысходными — как курить натошак
до желудочных спазмов —
играть понарошку как будто сжимается сердце
или глотая набухший в горле крик играть
в смотри, всё в порядке, видишь, я уже улыбаюсь
или второй час кряду
играть в *пошли вдвоём покурить на балкон*
распечатывая уже вторую пачку понарошку ворча
проклятый желудок всякий раз как сожмётся сердце

За флажки

все было точь-в-точь, он — маленький волчок, р-р-р,
они — громадные корноухие кудехвостые псы,
тук-тук сердечко,
цок-цок коготки
по мокрому блестящему асфальту, пятна
света, как сверкающие лужицы —
плюх!
развязался шнурок, не оступиться бы, не оступиться бы, не...

потом, лет двенадцать спустя, он
вместе с той девочкой
кричал про себя — беги, Форест! —
а потом четверть часа проплакал, но
как-то недоверчиво: красное,
что маячило где-то
на краешке памяти,
выцветало

Нестихи (The Unpoetry)

Графолалия

он ей — это с экрана, буквами
я, да, смотрюсь белым ангелочком,
а могу ведь
оказаться сорокапятiletним уродом,
которому никто
никогда не давал
из-за отечной хари
с дебилно отвисшей челюстью
и косоглазием;
который полчаса назад,
подвывая от внезапного ужаса,
когда понял: готов на всё... —
так что, может нам встретиться?
пишет ей белый ангелочек,
который
если и хочет всерьез выдать себя

за стареющего извращенца-урода
с двумя красными дипломами, нецелованного,
то
оттого лишь,
что до сих пор считает себя нищим
студентом, закомплексованным и
в прыщах, это в двадцать-то лет,
сутулым парнишкой
в заношенной джинсе,
слегка картавым,
с синим аттестатом и перспективой на отчисление,
с холодной судорогой в затылке
при слове «военкомат»,
юношей бледным, которому никто
никогда. и ни к чему.

а она, белый ангелочек
с двумя высшими — не красными —
сестра Милосердия, дочь Мудрости
пишет ему: конечно, давай встретимся,
я буду плешивая пятидесятилетняя
грымза,
на которую
никто никогда не зарился,
даже отчим,
отмотавший три по восемь;
фасовщица из пельменного цеха
необъятная, нецелованная,
достойную пару составим, нет?
давай встретимся

и они встречаются взглядами,
обернувшись через прокуренный зал
интернет-кафе, что на Чистых
прудах, посреди Эдемского сада,
где самые восхитительные чудовища
возлежат рядышком, смиренные,
и красный трамвайчик
звенит
как горный кимвал.

Неевклидова

а ему, говорят, на этой карточке
теперь всегда девятнадцать
любовь большие планы широкие перспективы
всё в прошлом никогда больше

а мне, говорю, вот на этой
всегда одиннадцать шестой класс унижение недоумение
животный страх
отличник некуда деться

всё
в прошлом

зарекался

писать о войне смерти
всяких таких вещах
потому что обязательно отыщется
сволочь какая-нибудь рванет тельняшку
а ты был там, мол, сука?!

а я там был.

Инга Кузнецова

* * *

Нелепый день. Мне смысл его не виден.
Он ни единым знаком мне не выдан.
Шпионы спят, набравши в рот воды.
Пришла зима, похожая на осень,
и вещи — точно брошенные оземь
озябшие плоды.

Пришла зима, похожая на осень.
Колеса надеваются на оси,
как встарь, но только катятся — куда?
Открой же эту книгу посредине:
там я стою челюскинцем на льдине,
кругом — вода.

Там я стою челюскинцем на льдине
с улыбкою раззявы и разини
и лестницей веревочной в руках.
Она упала из незримой точки,
и я не знаю, кто там — вертолетчик
иль ангел — ждет рывка.

И я не знаю, кто там — вертолетчик
иль ветер — крутит облачные клочья.
Крошится льдина, точно скорлупа.
И ледоход на появленье птицы
похож, на гибель сна под колесницей.
А я стою, медлительна, глупа,
и лестницу из пальцев выпускаю...

* * *

Научи меня плыть, обнимая упругую воду.
Мне такая свобода знакома по переводу
на древесный язык растревоженной весельной лодки,
суховатый и горький, как ягоды черноплодки,
как валежника треск, как ночная тоска пешехода.

Посмотри, сколько лет, кем-то выброшенная на сушу,
ненасытных купальщиков влажные башни разрушив,
я бегу от себя, как поток остывающей лавы,
превращаясь в ландшафт, оставаясь навеки снаружи.
Как я трушу у каждой реки! Научи меня плавать.

Если все совпадет, если существование продлится,
мы успеем взглянуть в изумленные узкие лица
удивительных рыб и пройти несъедобным планктоном
через толщи времен и воды невесомые тонны,
и тогда.

Январь

Видишь себя в полный рост, но как будто со стороны,
со спины.

Ты идешь, уменьшаясь. Должно быть, ошибка.

Крики с катка заглушаются снежной обшивкой.

Все времена, как ворота, отворены.

Как хорошо, как легко обменяться местами
с горечью кленов безлистных и пригоршней стай
воробьиных, пока этот снег не растает,
пока нарастает

тревога, пока тебе внятна и пустота!

Спрячься за деревом, если боишься себя обнаружить
там, где охотники ношу свою волокут
и за упрямые дула ржавеющих ружей
рыжие псы теребят их и просят за труд.

Прочь удаляйся, фигурка! Одну несвободу —
памяти темной, тугой, ни счастливой, ни злой —
в силах терпеть я, ныряя то в воздух, то в воду,
то перемешиваясь с землей.

* * *

Начинается время снов, непонятных слов.
Если ты боишься, поможет болиголов:
от него голова болит, да уже не так,
и разрыв времен забывается, как пустяк.

Если ты по нитке-волосу босиком
переходишь явь, не смотри, не смотри, в каком
страшноватом космосе плавает полстроки,
выпав из-за щеки.

Ничего не умерло, только едва ли кто
видит тех, кто сеял звуки сквозь решето,
выгнул корни слов, измеряя излуки рек,
кто тебя берег

в родовых деревьях дуплах сухих, пока
ты не вырвалась в жуть разреженного языка.
И теперь как вынужденный эквилибрист
переходишь лист.

* * *

Небо такое блестящее, что кажется, будто летит
стеклянный предмет.
И пока парашютов петит
прочтешь, думаешь: это небесных существ запасные
крылья,
а может быть, наши сны.

Сверкают, колеблются.
Или так выглядит время? Хотя
есть ли у времени тело?
Едва ли. Дитя
смотрит на солнце. Слеза, омывающая роговицу,
длится и длится.

Сквозь нее,
сквозь прозрачное детство, через мальчи-
шеский интерес к фонарям и расклейке афиш
с помощью крана,
к фольксвагенам-опелям-фордам,
лестницам, люкам,
собачьим мордам,

лицам, — время летит и сверкает.
Инверсионный след
самолета как смелая строчка.
На ней розоватый свет.
Небо не гаснет.
Чудо легче, чем шутка,
чем одуванчиковый парашют.

* * *

В сумерках в комнате не отыскать
углов. Как в испорченный батискаф,
сажусь и с последнего этажа
падаю в глубь дождя.

Я и не знала, что подойти к окну —
значит остаться здесь, но пойти ко дну.
Дорогая вода! Ты же меня всегда
притягивала как губительная среда.

Рыбы-шары, дрожащие фонари,
мутно и медленно светятся изнутри.
Водоросли ветвей и губчатый снег
нереальней всех.

Если и есть в этой жизни какой-то смысл,
дождь его смоем, если уже не смыл.
Мох подсознания, черный придонный мох
вытолкнет шаг, но напомним, как сделать вдох.

* * *

Народ несет печать зимы.
Народ несет печаль зимы.
Зима неизъяснима.
В ее зрачке застыли мы,
как неоконченная мысль
и неудачный снимок.

Мы простаки. Попав врасплох,
зимы прослушав монолог,
не понимаем знаки:
к чему листвы переполох,
зачем цветет чертополох
на шерстяной собаке?

Как тень гигантского крыла,
зимы ресница сорвалась,
мир рассекла на части.
И счастья нежная пыльца
ложится всем на пол-лица,
запудрив свет несчастья.

Мужчины в бежевых плащах
на синтепоновых плечах
несут обломки неба.
Тинейджеры на помочах,
как циркачи, чей трюк зачах,
болтаются нелепо.

Деревья в списанном раю
раскачивают песнь свою,
пока ползет машинка
и режет позднюю траву.
А сердце держит на плаву
прекрасная ошибка.

Что, если вправду всюду тот,
к кому лишь брошенный пойдет,
езде его улики?
А мы молчим в зрачке зимы.
Еще совсем осенни мы,
рассеянны и дики.

* * *

Я прошу твоей нежности, у ног твоих сворачиваюсь клубком,
превращаясь в зародыш и уже с трудом поворачивая языком.
Я мельчайший детеныш в подмышке твоей, не раскрой же крыла,
чтобы я, пока не согрелась, упасть из него не могла.
Я дремучая рыба, не успевшая обзавестись хребтом,
бесхребетная бессребреница с полураспоротым животом.
Не удерживаюсь, переваливаюсь по ту сторону твоего хребта,
за которой — вселенская тьма, космическая пустота.
Не покинь меня, вынь меня из толпы, извлеки на свет,
прочитай по мне, что с нами станет за миллионы лет,
проведи по мне. Я — это сборище дупел и выпуклых мест-
ностей, новостей, для слепого самый лучший текст.
Приложи ко мне раковину ушную, послушай шум
всех морей и материков, приходящих ко мне на ум,
всех тропических стран, всех безумных базаров, kloкочущих слов,
всех цикад и циновок треск, звон браслетов и кандалов.
Я бескрайняя ткань, можешь выбрать любую часть —
пусть я буду выкройкой тем, кто потом попадет под твою власть.
Я люблю их за то, что у них будет запах твоего тепла.
Я ненавижу их! Я погибаю от подкожного рассыпавшегося стекла.
Скажи мне, что я птенец, что ты не отнимешь меня от своей руки,
скажи, что мы будем жить на берегу никому не известной реки.
Мы станем сходить на дно и снова всходить из вод,
мы станем немы для всех, как рыбы, и невод нас не найдет.

Александр Переверзин

Чайник

Курили, мялись у сараев,
решали, как доставим груз,
я, Марк и Гена Николаев,
наш однокашник и не трус.

Был Гена третьим, внешним оком,
пока снимали втихаря
мы радиатор, ручки с окон
в цеху при свете фонаря.

Ходили трижды за окошко,
во тьму, где шорохи слышны.
Забрали чайник, вилки, ложки.
Кому теперь они нужны?

И, хоронясь во мраке жарком,
соляркой провонявшем так,
что, если шелкнуть зажигалкой,
спалишь к чертям весь этот мрак,

мы выгружались у забора.
Был Гена чайнику не рад:
«За ним вернуться могут скоро,
я отнесу его назад!»

За ним вернуться? Спятил, Гена!
Никто, никто и никогда
не возвратится в эти стены,
на это капище труда,

в пространство, ржавое на вдохе,
где — я же трижды там бывал! —

не то чтоб сходятся эпохи,
а просто времени провал.

Там труб дюралевые кости
нашарит в темноте фонарь,
и мнится: на чумном погосте
работал начерно грабарь.

А в отдалении, убоги,
из нашей тьмы во тьму веков
таращатся единороги
токарно-фрезерных станков...

.....

...Теперь, застрявший меж мирами,
я говорю с таких высот,
с которых видно, что же с нами
за десять лет произойдет:

Марк, соскользнув в стройбате с крыши,
без ног покинет гарнизон,
Геннадий голоса услышит
и будет в желтую свезен,

я изучу закон Бернулли,
проинженерю год в Клину.
А чайник мы тогда вернули,
не взяли на себя вину.

Пламя

Очередное черно-белое
документальное кино:
в железной рамке опустелая
платформа Косино.

Зима просторная и жуткая —
кругом, куда ни посмотри,
смертельный холод с промежутками
последней, как всегда, любви.

* * *

стало холодно совсем зябко
не люблю октябрь непогоду
говорила так моя бабка
причитала только б не в воду

не погост у нас а болото
торфяная дождь пройдет жижа
только бы не в воду не в воду
на пригорке там посуше повыше

все бессвязней говорила все глуше
на пригорке там повыше посуше
он зеленым станет ранней весной
там сосна еще стоит под сосною

* * *

тополя люди здания
облака облака
колесо-испытание
в парке ВДНХ

в кубе свежеекрашенном
сделав круг до земли
астронавты бесстрашные
задохнуться могли

распаленные встречные
губ губами ловцы
наверху были вечными
а сошли мертвецы

Письма на юг

1.

Вот увидел тебя и предстал пред тобой,
пряча нежность в эти двенадцать строк.
Колыбельную — помнишь, просил — напой,
и ты пела. И я засыпать не мог.

Что шептали ласковые уста,
слышал только я да еще один,
чья любовь, как наша с тобой, чиста,
щедрый милостью Господин,

совершитель всех благодатных дел,
направлявший птенцов своих с высоты,
сохранитель душ и защитник тел
от слепого зла и большой беды.

2.

когда на город сойдет темнота
когда сойдет темнота
я буду ждать тебя у моста
я буду ждать у моста

и мы помчимся с тобой через мост
помчимся с тобой через мост
как айртон что мертв и как ален что прост
но кто из нас будет прост

на том берегу не узнают нас
на том не узнают нас
пока не наступит рассветный час
наступит рассветный час

в котором тебя уже не догнать
в котором тебя не догнать
но не потому что за речкой падь
за речкой и вправду падь

а потому что за падью пасть
за падью бездонная пасть
она выбирала меня пропасть
а выбрала нас пропасть

а я не готов я еще не готов
я врал что я был готов
прошу остановимся у садов
голых пустых садов

помнишь как в них укрывались мы
дождь смолк ураган утих
сходящей на город смиряющей тьмы
хватало для нас двоих

3.

И чего ночью в голову не придет:
как ты? где? на каких югах?
Прогремевший над лоджией самолет
на посадку заходит в моих висках.

Димедрол дежурный дает добро,
улетает бычок в люберецкую жуть.
Выйдешь в «Яндекс»: золото, серебро.
От тебя ни слова. Снова не уснуть.

Не оставь меня, ночь, не бросай одного
посреди голых стен — без нее, — и хотя
я уже не боюсь ничего, ничего,
не оставь одного, без нее, уходя.

4.

влетает ворон нелюбви
распахивает ад
железом бей огнем травы
не улетит назад

не улетит пока в груди
есть мясо для страстей
но вот насытился гляди
не трогает костей

он ворон больше ничего
клюв лапы пара крыл
я видел изнутри его
я им однажды был

5.

Что еще осталось? Полумрак,
облако над лесом, лай собак,
голового окна квадратный свет,
женщина, которой рядом нет.

Голубя курлыканье-нытье,
горизонта сдвинутая ось.
Летнее твое житье-бытье
кончилось. Другое началось.

Где тоски естественный предел?
За окном не видно ни черта,
там ли голубь или улетел?
Темнота в квадрате. Пустота.

Что теперь осталось? Замолчи.
Вот кругляш магнитный, вот ключи.
Возвращайся, падай на кровать
верить в чудо прошлое и ждать.

Эдем

Разбудят под утро тебя мудрецы,
Московского гидрометцентра жрецы,
Враньем на центральных каналах.
Расскажут о том, что надеть предстоит.
И только с насмешкой в ответ прозвонит
Трамвай 27 в двух кварталах.

Купив сигарет у барышницы с рук,
На этом трамвае ты делала крюк
Бессмысленный. Я убедился:
Гораздо быстрее напрямик. Через двор
Я шел по дорожке туда, где забор
До самой земли накренился.

На опытном поле осеннем вдвоем
Мы видели, как зеленел водоем,
Как яблоки падали наземь,
Как ветер последние листья срывал.
И если нас кто-нибудь здесь узнавал,
То это один Тимирязев.

И мы незаметно следили за ним:
Спиной повернувшись к владеньям своим,
Он молча смотрел, как ветшала
Фасадов и крыш штукатурка и жесьь,
А ты — здесь их, скрещенных, было не счесть —
Плоды неземные вкушала.

Два года прошло. Нам не встретиться тут,
У каждого — новый трамвайный маршрут.
Студенты в саду неволшебном
Подняли забор. У центральных ворот
Охранник и рыжая сука живет —
Дворняга. И вход по служебным.

Элина Сухова

* * *

Дурочка моя, дурочка,
Поговори со мной!
Видишь, личинка падает,
Повинуясь тяге земной,
Видишь, листочек следом
Тянет к земле, кружа:
Если все упадем,
То зачем рожать?

Дурочка моя дурочка,
Пустой разеваешь рот.
В нем не слова упрятаны —
Земная пыль.
Лето похоже на соты —
Сначала мед,
После — мертвые пчелы,
Вымерший монастырь.

Кто мне ответит, милая,
Если ответа нет?
Воды, сомкнувшись, лязгнули,
Мой пропустив народ.
Что же ищу я, как дурочка,
Жизни посереде —
Моря мне надо посуху
Или же неба вброд?

* * *

Смеялась, и яблоко грызла, и в окна глядела,
Где рощи — галопом, галопом — неслись за вагоном,
А толстые бабы тащили в наш тамбур корзины,
Из них пахло булками, курицей и самогоном.

Еще пахло углем, вареной картошкой и потом,
Гудела на станциях яркая южная мова.
В игре в города я была не в ладах с алфавитом,
Пыталась придумать на Э обратное слово.

Купе угощало усердно друг друга черешней,
И море призывно сияло за окнами слева...
Сосед молодой говорил: «Два часа — и на месте!»
Я яблоко грызла — невинно, как древняя Ева.

* * *

Там змей парит над лугом кочковатым
И дед идет с козой и хворостиной,
Белье в реке полощет баба Зина,
А голуби — взлетают выше змея,
И я свищу в два пальца — я умею.

Там дядя Коля весело и с матом
Нам строит дом и ловко стружки вьет,
Из толстой стопки лихо водку пьет,
А я учусь держать рубанок прямо,
И надо мной подшучивает мама.

Наш дом встает просторным и крылатым,
Каленым жаром пышут обе печки,
А в Новый Год пишу и жгу на свечке
Желанье: чтоб я маленькой осталась,
Чтоб ничего на свете не менялось.

Чтоб вмерзло время в стрелки циферблата.
И смерть дорогу в этот дом забыла,
А мама с папой молодыми были
Навеки. Чтобы жизнь пошла по кругу –
От луга к речке и от речки к лугу...

* * *

Памяти Н. В. Сухова

Голову закидывала в облака,
Пальчиком показывала: посмотри!
Дядя Коля, милый, что это там?
Бабочка ли, птица, клочок зари?

И, прищурясь, вглядывалась до слез,
Провожала взглядом за небосвод...
Он не поднимал от работы глаз:
«Это – чепуховина, самолет.

Это твоему батьке орлом летать,
Мы с тобой наземные короли!
Молотком по гвоздику – крыши скат,
Печка по кирпичику – пуп земли»...

Я ему не верила: «Ерунда!»
Думала, что все-то мне по плечу.
И тянулась выше, ждала, когда
Вырасту и на небо улечу.

Все растем, все старимся – что терять?
Корни – в землю, проще-то говори...
Вот теперь – и вправду – учись летать,
Над землей распахнутой воспари!

Я стою над ямою чуть дыша,
Голову закидываю в небосвод,
И спросить-то некого: там душа
Или – чепуховина, самолет?

* * *

Пейзаж отчетливо зимеет, и обрастает пухом нежным,
И лапкой кроличьей счастливой запечатляется на стеклах...
Когда линяет время года, плешь маскируя мишурою,
Так хочется фальшивкам верить, как в детстве верила факиру,
Который доставал из шляпы цветы и ленты в хлопьях пыли,
И блески пестрые летели с трико распиленной девицы.
Я так ждала, как ждут конфеты от пришедшей тетеньки в прихожей:
Когда же кролик, где же кролик? Ему темно в цилиндре черном!
А пух зимы растет все гуще, сменяется волнистой шерстью,
И шевелит прозрачным ухом, и глазом розовым моргает...
А я смотрю не отрываясь, и чуда жду, совсем как прежде,
И все твержу: ну где же кролик, мой белый кролик из цилиндра?!

* * *

Там Пенелопа стирает холсты над рекою,
Красные руки ее поднимаются мерно,
Время прошло, и окончился траур по Ною.
Впрочем, он звался тогда Одиссеем, наверно.

Звался он мужем и сделал ей ложе и сына,
Поле засеял, построил корабль быстроходный
И обещал: «Я вернусь. Заалееет рябина,
Жди — я с богатой добычей приду из похода!»

А Пенелопа — обрюзгшая, старая баба,
Ходит на берег тяжелой утиной походкой.
Меч заострил, приделся получше и — баста!
Может, вернется с какой-то случайною лодкой?

Может, вернется? И тонкие простыни стелет.
Может, вернется? И, в тусклое зеркало глядя,
Пряди седые взобьет, щеки густо набелит:
Если вернется — в каком его встретить наряде?

* * *

Надеждой жила, но за давностью лет
Иссяк ожидания маковый цвет
До серого донца.
Однажды устала на берег ходить,
И сердце любовью пустой бередить,
И алый твой парус искать вдалеке,
Прищурясь от солнца.

Рубила капусты тугие кочны
И думала, как бы дожить до весны,
И думала, что собрала про запас,
А что остается.
Картошку с морковью сгребала в бурты,
Кормила курей и белила холсты,
И думала — погреб вареньем забит
И жизнь удается...

И жизнь удалась! Но когда, поседев,
Очки и галоши привычно надев,
Я выйду на берег знакомой тропой —
Вдруг сердце зайдет —
По мутной воде, по зеленой реке,
Корабль летит, а на нем вдалеке
Алеющий парус под ветром звенит
И весело бьется...

* * *

Малина поднялась —
Пиши «малина-линь» —
Китайский выпендрож
На рисовой бумаге.
Купи себе билет
И хочешь — к югу двинь,
И журавлей лови,
И обходи овраги.

Лети, маши сачком —
С намета на галоп,
Уже и гроб видать,
А молодость все длится.
Покрепче рукоять —
Лишь руки оботри,
Где мстительно в горсти
Нагадила синица.

Не хочешь больше так?
Пойди и засверлись!
Твой буратинный век —
Опилки без кармина...
А что на пальцах кровь —
Так урожайный год...
Малина, милый друг,
Такая, блин, малина!

* * *

Выйду за околицу — поле, лес, лен,
Избы да заборы. Жара, жара...
Раньше бы подумала: жизнь — сон.
А теперь попроще: косить пора.

Рассуждать о будущем, мыслить впрок
Можно, если времени дофига,
А когда отпущенный виден срок —
Все куда практичней: мечи стога.

Хватит дегустировать — посмотри,
Ведь в харчевне жизни неуместен фрак.
Дней подливку корочкой подбери:
Может, некультурно, да вкусно как!

* * *

Вот этот велосипедист,
Отбившийся от стаи.
О, как блестят его глаза
И крутятся педали!
Как он стремглав летит вперед,
Полет его неистов,
И как ему недостает
Таких как он — педистов.

И хлещет дождь ему в лицо,
И города мелькают,
И тучи рвутся вслед за ним
И в пыль не попадают...
А я гляжу ему вослед —
И воздух жаром пышет,
И хочется ему сказать...
Но он уже не слышит.

А мне всего-то пожелать...
Но он уже промчался —
Чтоб он с подобными себе
Другими повстречался.
Он тоже мог бы пару слов,
Пока и я не скрылась,
Чтоб я когда-нибудь к своим
Каким-нибудь прибилась...

Елена Лапшина

* * *

Я видела — в лугах его, далече, —
как, обгорев, но ран не замечая,
он бродит, пряча розовые плечи
среди густых метелок иван-чая.

И я слышала — смертная, мирская, —
как на чужом наречье незнакомом
он пел, тяжелых век не размыкая,
кому не знаю: птицам, насекомым...

И мне казалось, будто в этом теле
ему легко среди травы и зноя...
И облака все посолонь летели
кибиточками в Царство неземное,

уже звала не Волга, но — Валгалла,
и отцветало пестрое, простое...
И я жила, пока еще мелькала
его спина в зеленом травостое.

* * *

Приди. Пропади. Мой край не хранит следа.
И здесь хорошо лежать, растворясь в земле.
На теле моем в ложбинах стоит вода.
И мертвая птица, как в лодке, в своем крыле.

А лес по колено стоит в дождевой воде,
и мокрые лисы пробуют вязкий брод.
Усталые лисы лают, и быть беде —
им не перейти мой край дождевых болот.

.....

И я просыпалась в шелесте — дождь все лил.
И всадники краем леса вели коней...
Со стонами в гиблую глубь опускался ил.
В лосиные кости вплетались руки корней.

О край дождевой, размой под ногами гать,
и стеблями спутай, и путника награди
усталостью, чтобы сладко ему лежать
в тяжелой воде с морошкой на груди.

* * *

На даче — лепота: пионы и люпин
толкуются у стола, заглядывая в чашки.
Теплынь, а ты с утра ворчишь, и ты — любим
до каждой клеточки на клетчатой рубашке.

Смородиновый чай, кузнечики у ног,
сомлел соседский кот на плиточной дорожке.
Ты отгоняешь прочь цветочный табунок,
встаешь из-за стола, отряхивая крошки.

И все еще — оса над чашкой голубой;
и все уже — как есть, и не в чем сомневаться.
И фотку бы в альбом: «Вот это — мы с тобой...»
Но это — я и ты — в свои невосемнадцать.

И надобно опять — в прозябшее жилье —
отважиться на жизнь с повадкой постояльца —
в болезни и нужду, в безлюбие твое, —
чтоб не пускать корней и смерти не бояться.

* * *

Поскрипи, поворочайся, ляг на живот.
Чуть сморило и вот:
чу! — мышиный обход,
комариное соло над ухом плывет,
кто-то певчий из сада зовет.

И скрипичным концертом тревожат сверчки.
Со смычками в ладу
покачнутся в саду
георгинов испанские воротнички
и стреляют люпинов стручки.

Отдохни от забот, позабудь урожай.
И на лунном полу —
полуночном балу —
стань на цыпочки, девочка, воображай —
закружи, завораживай — не возражай! —
продолжай, продолжай, продолжай...

* * *

Я не помню — зачем-то просили плясать Саломею.
Вот и я доплясалась, и — непоправимо стара.
Я, наверно, останусь одна, потому что любить не умею,
Только сытое сердце умею тревожить вожжою пера.

Я порой прихожу на веселье к чужому застолью.
Я умею — собакой, забавой, рабюю — ложиться к ногам.
Я такое люблю, что любому покажется болью,
Я такого желаю, чего не желают врагам.

И со мною не сладить — я сладкая, жаркая, злая.
Я тебя заморю, заморочу, оплачу и выпью до дна.
Я живу ожиданьем, уже ничего не желая.
Я тебя пощажу, потому и останусь одна.

* * *

Мне говорили: — Все без толку.
И то — какой с ребенка спрос, —
когда заваливал на елку
кроваво-красный дед мороз.

Я упиралась со слезами,
пока, зловонием дыша,
тот шарил красными глазами
соседа «с третьей» — алкаша.

А взбудораженные предки
велят читать ему стишок.
...Я высоко на табуретке,
как будто пеночка на ветке.
А тот — берется за мешок.

Я ничего не понимаю,
я свой подарок обнимаю
под сильный кашель горловой.
Оцепеневшею фигуркой
стою с пластмассовой снегуркой,
и звон плывет над головой.

* * *

Через целую жизнь, — отгордившись грехами отцов
и наделав своих, — наконец принимаю сиротство.
Черно-белые карточки милых моих мертвецов
в неопрятном альбоме теряют портретное сходство.

Я вас помню не так... Я за вами иду по пятам.
Вы такие как есть — это мой коленкор изменился.
Призакроешь глаза — и как будто проснулся не там.
И как будто не жил, а кому-то навязчиво снился.

В Подмосковье весна — захолустному снегу каюк,
мать-и-мачеха прет, и на Пасху такая отрада!..
Улетевшие птицы, ну как там обещанный юг?
А у нас тут земля проседает, коража ограды.

За любой недогляд плотяное пуская на слом,
землеройствует жизнь... Но порою привидится снизу,
будто небо меня задевает своим подолом —
я тихонько лечу, ухватившись за синюю ризу.

* * *

От земли поднимутся холода,
незаметно к ночи повалит снег.
Ты увидишь небо из-подо льда,
ты проснешься рыбою, человек.

Неусыпным оком гляди во тьму,
серебристым телом — плыви, плыви...
И не думай: *это зачем Ему?* —
все, что Он ни делает, — от любви.

Не ропщи, что речь твоя отнята,
не по небу ходишь, не по земли.
Если рыбе дадена — немота,
то самим дыханьем Его хвали.

Елена Дорогавцева

* * *

маме

Грубый мост прогибается. Доски одна за другой,
набухая, гниют, выпадают, как старые зубы,
над зеленой водой, что уже не зовется рекой,
а вороньим оврагом и только весной — запрудой,
где когда-то — лет сорок — и щука водиться могла.
Кто тогда не рыбачил, тот долгое лето купался
и течение ловил. Но куда и откуда текла,
не припомнит никто, да и мало кто

с детства остался.

Все ушло, заросло, затянулось болотной мглой,
испарилось, исчезло, впиталось слоями в породу.
Моя мама сюда приходила совсем молодой
и смотрела с моста в эту чистую, свежую воду.
Она видела дно, его светлый спокойный песок,
разноцветные камни и длинные пальцы растений,
отраженье лица, удлинненное наискосок,
и тяжелые тени, почти недвижимые тени.
Солнце криво висело на самой высокой сосне,
ослепляло глаза, разбивалось о реку, с размаха
расщепляясь на искры, играя на тонкой волне,
будто страха не будет, а может, и не было страха.

Наследство

Не генеральский кортик, не серебряный подстаканник — дурное семя
досталось в наследство от деда —

упрямый характер, несовместимый с профессией правоведа,
что была условна в нашей отчизне в любое время.

И когда слово «право» имело одно значение
и могло привести только в черные списки —
в лучшем случае, в худшем — к потере близких
и «к десяти годам... без переписки».

Несмотря на всеобщий голод и ночные страхи,
и в 30-х, и во время войны всегда была икра, шоколад и сухое печенье
в генеральских семьях, находящихся на особом обеспечении.

Всегда наготове была пара свежего белья и белая ненадеванная рубаха,
под опись

сложенные в кожаный чемодан,
десятилетие простоявший в конце коридора.

Дед был прокурором в годы террора.

Полжизни верил в партию, вторую половину — в стакан.

Бог знает, где стоит его подпись.

Я видела ее только на сигнальных экземплярах
юридических книг — всегда сверху и справа,
прямо перед вступлением о скорой победе коммунизма.

Дед был убежденным партийцем без практицизма.

Над этим всегда смеялись в кулуарах

Института Государства и Права —
фактически в его малой отчизне.

Я работаю там же — вот она, ирония жизни!

* * *

Взросление — случай, и он приключился с тобой,
когда ты смотрел на долину в животной тревоге,
асфальт раскаленный кипел под опухшей стопой,
и воздух струился над линией черной дороги.
От самой Тамани как по раскаленной печи —
не близко — то «ЗИЛ» подвезет, то пустая попутка,
то мимо деревни, то мимо арбузной бахчи,
где вечный охранник уснувший и серая будка.

До Фанагории один добирался – и вот,
ты сверху, с дороги глядишь на палаточный город,
на груди холмов, на долины упругий живот,
и пот, подсыхая, скользит за потрепанный ворот.
Висит над заливом, искрится тяжелый зенит,
и йодом несет от воды, запах в мареве тонет.
Ты видишь себя: угловатый мальчишка бежит
по склону холма и чабрец зажимает в ладони.

Сны Александра

Ему снятся голые скалы, голые степи, пески,
сухость во рту – невозможно слотнуть слюну,
миг возбуждения, сдавливающий виски...
Перед тем как в тени шатра отойти ко сну,

местным вином вместо простой воды
будет омыта кожа, и первый всплеск
этой кислятины смое с руки следы
высохшей крови – ржавый шершавый блеск.

Кровь будет сниться тоже, но как река
для рыбака. Кровь, как привычный фон,
не повлияет на глубину глотка
воздуха и не нарушит короткий сон.

Одновременно все, что владеет им:
вкус сновидения, этот же самый цвет
сочный и сладкий, что может быть сравним
с первою женщиной в девять неполных лет.

Так рассекает меч, не задев кости,
мякоть телесную. Мякоть к себе манит –
так надлежит мужчине себя вести.
Только поэтому юноша сладко спит.

Как и предсказано, встали планеты в ряд,
превращены страны в каменоломни.
Только один город не будет взят,
кажется, что Термесус... Уже не помню.

Евгений Лесин

* * *

Даже сегодня, даже
Несмотря на тиски,
Районы пятиэтажек
Выглядят по-людски.

Прячется среди башен
Чуть живая душа,
Возле пятиэтажек
Даже можно дышать.

И не везде душно.
Есть еще, погляди.
Маленькое мое Тушино,
Историческое почти.

Ни Северное, ни Южное.
Маленькое, увы,
Старое мое Тушино.
Город возле Москвы.

* * *

Девочка идет, виляя задом,
Пьяная, торопится в метро.
Споры меж Москвой и Ленинградом —
Словно между первой и второй.

Словно мы совсем не уезжали.
Только не идет из головы,
Что для ленинградцев мы южане.
Даже те, кто с севера Москвы.

* * *

Хорошо, когда не замешан,
Хорошо, когда незаметен.
Вот и ссориться надо меньше,
Потому что мы все не дети.

А не детям мириться трудно,
Да и жизнь короткая очень.
Только мелкое неподсудно,
А большое любой затопчет.

Бейся лбом, упирайся рогом —
Только станешь сильнее болен.
Даже самым хорошим богом
Вечно кто-нибудь недоволен.

* * *

Четыре дня я был женат,
Я был женат четыре дня.
Я знаю, что такое ад,
И ад, скажу вам, не фигня.

Я был в аду четыре дня,
Четыре дня я был в аду.
А ну, покайтесь у меня,
Покайтесь, сволочи, я жду.

Иначе страшное грядет,
Сожжет вас лютая змея,
И рухнет черный небосвод,
И уничтожит вас семья.

В геенне огненной гореть,
Вдыхая серы аромат.
Но нерушима ада клеть.
Навечно каждый здесь женат.

Навечно мука и огонь,
Навечно дьявольский оскал.
Летел в полымя черный конь,
И слезы капали у скал.

Скорей верните целибат
По всей вселенной и вокруг.
Четыре дня я был женат.
И мне хватило моих мук.

* * *

Вот опять в Ленинграде я,
Где шавёрма, «Зенит».
Алко-шатия-братия
На мобилку звонит

И с надеждой недетской
Вопрошает, смеясь:
— Возле «Новокузнецкой»,
Может, выпьем сейчас?

— Да сейчас не получится, —
Отвечаю в тоске.
До чего ж я соскучился
По веселой Москве...

Неприветливый город,
В камне сделанный ад,
Где четыре собора,
Нависая, глядят.

Там поповщина всякая,
Тяжко мне, алкашне.
Колоннада Исакия —
Ничего нет страшней.

Я от кваса с баранкой
Все косей и косей.
Пьяный мост над Фонтанкой:
Вытрезвитель-музей.

Настроенье дурацкое.
Неизведанный путь.
Надо на Петроградскую
Поскорее свернуть.

От истерики суточной
Убежать и невзгод,
В доброй питерской рюмочной
Свой закончив поход.

* * *

Марш согласных.
И марш несогласных.
Не встречать бы ни тех, ни других.
Но Россия одна. И опасна.
И не очень-то любит живых.

А болеют, потом умирают
Все, кто как-то пока еще жив.
Даже те, кто казнят и карают,
Про права и охрану забыв.

Непривычно ведь без конвоира.
Создают они мир и уют.
Хоть и заняты честью мундира
И все время ее отдают.

Дар случаен, вопросы напрасны.
А ответы и вовсе беда.
Марш согласных.
И марш несогласных.
Марширует страна в никуда.

Марширует под бодрые речи
В летаргическом радостном сне.
И холопский недуг не залечен.
И не ждет нас никто на Луне.

Алексей Кащеев

* * *

«Молодой человек не такой уж молодой», —
Говорят мне в очереди; я оборачиваюсь.
Это моя мать.
Я спрашиваю: «С чего тебе здесь стоять?»
А она мне: «Я уже год как занимала».
Тут бы мне и проснуться,
Но этого мало.

Я снова вижу ту же очередь,
То ли за хлебом, то ли за маслом,
Ну, на худой конец, в сберкассе.
«За вами просили не занимать».
Я оборачиваюсь.
Это моя мать.
Смотрит жалобно, немного с упреком.
Я говорю: «Ну что в этом проку?»
По логике сна мне вообще наплевать,
Могу кому хочу нахамить,
Напасть на кассиршу, окно разбить», —
Но она говорит мне: «Уже рассосалось», —
И действительно, народу совсем не осталось.
Я подхожу к окошку,
Толстая женщина в зеленом жакете
Дает мне билетик.
Я захожу в комнату.
Сажусь на табурет.
Гаснет свет.

Мне показывают слайд-шоу, какие-то картинки:
Страницы из букваря со словами «зима» и «лето»,
Я вижу дворника и дворик, залитый светом,
Я вижу врача — он держит мои ботинки,
Вижу эскалатор на Театральной — он едет вправо,
Задираю голову вверх до боли в суставах,
Вижу небо и солнце увидеть пытаюсь.
Тут бы мне и проснуться —
И я просыпаюсь.

Алексею Панову

мой прадед был артиллеристом
с крыши ныне снесенной гостиницы
его расчет сбивал неистово
самолеты бомбившие столицу
от прадеда остались игральные карты
десятки медалей и автографы тогдашних писателей
теперь я пользуюсь кредитной картой
одного из банков страны-неприятеля

мой прадед хотел погибнуть за Родину
он был характером строг десятка неробкого
так говорила прабабушка вроде бы
он умер от рака
кажется
левого легкого

с медалей Сталин шуруется взглядом пижона
когда я лезу в сервант протирать пыль
как будто не Сталин убил сколько-то там миллионов
как будто не прадед мой а я победил

я боюсь смерти не знаю молитвы
в армию я не пойду упаси Боже
кто сейчас помнит день Куликовской битвы
все победы забудут и эту тоже

но когда в местах где по его желанию
стреляла в небо зенитка снарядом советской кройки
в тех местах где стояло могучее здание
а теперь леса бесконечной стройки
в тех местах проходя по грязным ступеням
я поднимаю голову в небо синее

потому что мой прадед выжил за это мгновение
потому что меня назвали его именем

* * *

сентябрь светила пусть поспят
дождям настала смена
и негры мокнут и скорбят
у крыши РУДНа

в моем районе осень мрак
для Тропарево это
сезон поганый точно как
зима весна и лето

нет в жизни смысла в смерти же
есть смысл но банальный
во всех районах я уже
не говорю о спальнях

храни меня мой талисман
от девятиэтажек
от лесопарковых полян
от стройплощадок даже

храни меня от санузла
от кухни и от спальни
храни меня от зла от зла
а лучше от печали

о вещая моя печаль
что делать мне с тобою
пропить нельзя а бросить жаль
свое ведь не чужое

продам пожалуй в полцены
всем тем кому заняты
вся эта явь все эти сны
а может и бесплатно

трем мокрым неграм или вам
пришлю посылку к дому
быть может вы живете там
где что-то по-другому

* * *

Я пил Главспирттрест. Я пил Смирнов.
В Твери наливался настойкой гадкой,
Я пил куда-то пропавший Тинькофф
И вечнозеленую Балтику-девятку,
Я пил граппу, вино и портвейн,
Я пил перцовку, закусывая салом,
Я пил с теми, с кем пил Евгений Рейн,
И с теми, кого уже не стало.
Я хлебал ракию, я тянул Малибу,
Я хлестал коктейль за семнадцать баксов,
Я ставил бутылку на ржавую трубу
Одной из улиц Красноярска,
Я наливался спиртом, разбавленным физраствором,
Я жрал неизвестный напиток на букву «бэ»,
Напившись виски, я пел сам с собою хором
(Лучше всего выходили песни «Любэ»),
Я пил в одиночестве, пил с пожарником,
Бухал с мрачным санитаром Димой,
Я пил с пограничником и с алтарником,
С любимой женщиной и с нелюбимой,
Я запивал соком, заедал салатом,
По утрам глотал холодную вкусную воду,
Я мучился тошнотой, воображая себя солдатом,
Боящимся тягот, но все же идущим в пехоту,
В пьяном виде я летал в самолете,
Писал стихи, разговаривал со своим котом,

Играл в бильярд, спал за столом на работе, —
Но ни разу, ни разу не думал о том,
Что, когда покинет душа моя брэнное тело
И явится ангел с блокнотом, сквозь чьи-то всхлипы
Он спросит меня не о том, что я в жизни сделал,
А только о том, сколько и с кем я выпил.

* * *

Но снова тебе не спится,
И ты открываешь окно.
Деревья торчат, как спицы,
И небо, как полотно,

Лежит над твоим домом
Без складок, как простыня.
Вселенная впала в кому,
Луна тверда, как броня.

Пейзаж кошмарен и шаток.
Он нервы берет на слабó:
Ты снова смешал «девятку»
С Эдгаром Алланом По.

И снова лежишь в кровати,
Стараясь унять дрожь:
Вот здесь ты живешь и, кстати,
Наверное, здесь помрешь.

Сервант, старинный и гордый,
Обои (пора менять),
И кот с монголоидной мордой,
И дранная им кровать,

И фотка — ты знаешь, кто там,
И книги — ты их читал,
И даже добытый пóтом
С автографом чьим-то журнал.

В двухкомнатной этой отчизне —
Санузел отдельный, возле
Метро. Проехать легко. —
Квадратные метры жизни,
А также того, что после,
А также того, что до.

* * *

За окном пролетает ворона,
Разрезая безлунную ночь.
Что-то где-то стучит монотонно,
Шорох листьев уносится прочь.

Воздух в комнате душный и клейкий,
Залепляет глаза изолентой:
Овцы прыгают через скамейку,
И ахейцы плывут за Еленой.

Вырываюсь из этого плена,
И упорной курчавою змейкой
Овцы прыгают через Елену,
И ахейцы плывут за скамейкой.

И отчетливо слышно: лениво
У соседей работает слив.
Слава Богу, что вы еще живы.
Слава Богу, что я еще жив.

Евгения Тидеман

* * *

везде, где были голубые дали, — везде вода.
отчаливать от берега печали, от стен стыда,
от этой красоты, от этой муки — сквозь свет и тлен —
в другие племена, в другие руки — в последний плен.
где памяти бессонные сплетенья, где пламень их, —
волнуют только музыка и зренья, а разум тих.
отсюда до сердечного порога — не холод дна.
одна неизъяснимая дорога. душа одна.

Сон

мы шли через лес,
а потом не могли отоспаться.
и эти ручьи
переправы олени и сон —
как будто поход
в трисвятое
безлюдное царство,
где ты говоришь мне:
отныне светло заживем.
что значит — люблю.
и пока милосердие в силе,
мы можем без сил
засыпать в тридесятом краю.
ходить по траве,
затопившей окрестные мили.
и страха не знать
за бессильную душу мою.

* * *

День прошел. Похолодало.
Н. Дорوفеев

день прошел. похолодало.
луг по пояс ледяной.
темень всходит от причала
до предсердия волной.
на исходе снится лето
медью меда, солнцем сот.
ты стоишь в оправе света
в страшном сумраке ворот.
даришь медленные руки,
не насмотришься, молчишь.
на излучине разлуки
обезболивает тишь.
на излучине прощанья
так целуешь, что ясна
вся блаженность мирозданья
сквозь печаль земного сна.

Теплый день

скажи, что больше нет печали. что я родился в теплый день. разливы майские мельчали и к холодам цвела сирень. студеный свет просторным домом стоял, и кроткая вода, как ты, вела меня знакомым белейшим днем и сном сюда. отец являлся молчаливо — скажи, ты умер? ты умрешь? — но то, что будет или было, не различалось ни на грош, и здесь уже существовало неразделимо, навсегда. сирень цвела, отца не стало, вступали в силу холода, и я вступал под солнце мая, его приветствуя, и тень, как ты, вела меня до края, где наступал полярный день, чтоб я догадывался снова, что только этот белый свет и есть отец, любовь и слово и ничего на свете нет.

Река

мы как дети серьезны.
мы тщимся друг друга сберечь
только в этих руках,
под которыми явны предметы.
но не слушая нас,
повторяет беззвучная речь:
наши дни сочтены.
мы одни у течения Леты.

Кто стоит, отгадай,
за твоим нерушимым плечом
(я запомню его — и оно оттого нерушимо),
я увижу его из реки, где глазам горячо,
а ступни холодит голубая небесная глина.

только не упади,
даже если и я упаду.
только не уходи — вот уж голос поистине детский.
оставайся во мне,
продлевая мою немоту,
чтобы только в нее у речного порога одеться.

На берегу

на берегу. под эти руки
под эти солнца эти льды
где жадный заговор разлуки
крадет крадет твои следы

где сердце думать не умело
и где в плену бетонных плит
ты так берешь меня, за дело,
что тело жертвенно горит

на берегу. не лгу. иначе:
не поцелуев осыпь что —
я берегу тебя. я плачу.
я сиротею. я расту.

но где и холодно и тонко,
где и больней и больше свет,
ты так берешь меня, ребенка,
что ясно все и смерти нет.

* * *

долг твой сон и глубок.
долга последний ледок
тонок, как поздний ребенок.
чистой, без мает и мук,
жизнь выпадает из рук
в легкую плоть плоскодонок.

будет белее берез
остановившийся плес,
черными — кущи погоста.
где мы кидались с тоски
в теплое тело реки
и в одиночество роста.

стынь на морозной лыжне
ныне — внимай белизне,
чуя отчетливость рая
в полном молчании сна
в поле, в плену полотна
без горизонта, без края.

стынь, ибо тщетен уклад:
старясь, уходишь назад
в черные раны равнины —
в рощи, в разверстости рва,
в русла, овраги, слова —
в чрево, к язычеству глины.

Залив

закрой глаза. ничто не повторится.
тропа сама выходит на залив.
весну поют, вытягиваясь, птицы
и пьют ее из льдин береговых.

закрой глаза. разреженнее, резче,
острее, неприкаяннее свет.
тропа исповедима. сосны вещи.
и зримо все, чему названья нет.

Анна Аркатова

* * *

Выбери монофоническую мелодию.

Из рекламы

С мобильного на мобильный,
Иную минуя связь,
Лети, мой сигнал дебильный,
Зажмурившись, окрестясь.
Дугою от уха к уху,
Как обухом с облаков
Законченным клоном звука
Из плотных моих силков.

Веровочкой из затакта,
Дрожанием где-то там,
То моцартом аккуратным,
То вагнером по мордам,
О, верный приют солиста,
Затисканного людьми!
Невинная квинта листа — и
Амнистия, топ ами!

Тут вам не гонец полночный
С приветами в рукаве,
Тут очный первоисточный
Мой нарочный с УКВ!
Лети — арсенал исчерпан,
Изъеден культурный слой.
Вот — верности звук дочерний,
Вот — ревности.
Основной.

* * *

Сведенная к нулю, лежащая под спудом,
скребущая во сне изнанку живота —
любовь, я не люблю уже твоей запруды,
в ней глубина — не та,
и фауна не та,
и берег твой погас,
и ты сама, по слухам,
давно ушла в песок с бумажного листа,
а как брала!
на раз!
на дурочку!
на муху!
на раздеванье,
на
ныряние с моста!

* * *

Стесняясь своего английского
И набежавшей к лету талии,
Выходит женщина, подыскивая
Пейзаж для снимков моментальных.
Она еще едва обучена
И долго выбирает азимут —
Гора, оправленная тучами,
Не характерными для Азии,
Вот горизонт как лента шелковый
Лежит, ползет кораблик рисовый,
И женщина два раза щелкает
И влево двигает кулисою,
И заливаясь легкой краскою —
Как будто спрятала оружие —
Себя внутри пейзажа райского
Увидит и замрет
Снаружи.

* * *

«У Фарерских островов затонуло исландское грузовое судно».
А я и чувствовала это подспудно!
Когда прибирала альков,
Перечитывала письмо, разглядывала фотоснимок
И воображала, что нет ведь свободы
Передвижения и сочетания судеб,
Только свобода песка,
Взрыхленного днищем тяжелым,
Только свобода воды,
Обогнувшей сосуды.

* * *

У него на столе порядок —
Ручка к ручке, листок к листку.
А в душе у него упадок.
И не хватит пяти тетрадок,
Чтоб свою описать тоску.

Он к бумаге подносит ручку
И чернил дорогих флакон,
Начинает одно из лучших...
Но ее вспоминает, сучку,
И курить идет на балкон.

Там веревки дрожат тугие,
Трут прищепки большой зубок,
Там коварная, как сангрия,
Вся испанская драматургия
Рукояткою тычет в бок.

Он дыханье берет с запасом,
Но подводит его запас.
Дом качается всем каркасом,
И никак не закончить фразу,
По которой легко и сразу
Тихий ангел узнает нас.

* * *

Молодильные яблоки ела,
Ключевую водицу пила,
Чтобы старость меня проглядела,
Обозналась бы, мимо прошла.
Удалось! Не заметила, сука!
И пошли хороводом ко мне
И любовь, и печаль, и разлука,
И тоска на чужой стороне.

* * *

Короткого дня светового
Лагуна, слепое пятно.
Приехали дачники снова,
Забиты фанерой окно.
Убрали, что стало ненужным,
И розу укрыли в саду,
И вышли к зиме безоружно
И честно —
Как в прошлом году.

* * *

Еще не поздно завести дневник,
Еще осанку выправить не поздно
Над письменным столом, как ученик,
Плюсквамперфекта разгадавший козни.

Еще не поздно вынести на свет
С оторванной вешалкой изнанку,
Пойти по швам, напасть на верный след
Неверного покроя. Партизанкой

Проникнуть в синтетический рукав,
Понять причину холода и боли,
Начать с заглавной буквы: Ты был прав.
И сдать тетрадь. Как полагалось в школе.

* * *

С. Гандлевскому

Заберись на скамейку с ногами,
Догоревший окурок отбрось.
Видишь, время в коричневой раме?
Так тарань эту раму насквозь.

Помогай себе мерзлым ботинком,
Толстой варежкой в первом снегу,
Горлом кутаным, ухом отитным,
Ну и я чем смогу — помогу.

Поднесу с поднебесных балконов —
Как снаряды подносят в бою —
Леша ужинать все уже дома
Только ты все сидишь на краю!

Отсыревшие спички мусолишь,
Надоевшую цедишь строку —
Это двор и скамейка всего лишь,
Те, что ты промахнул на скаку.

Это край. Это парта-камчатка,
В океан уносящий ледник.
Голубь ходит по детской площадке —
Непечатого счастья двойник.

* * *

Когда прилетели грачи
И взялся за краски Саврасов,
Все стало — как звуки в ночи —
Ясней и отчетливей сразу.

Тоска, что держала плечо,
Надежда в нечаянной схеме
Березы — и что-то еще,
Пока не подвластное теме.

Но вот истончился белок,
Но вот завязалось сраженье,
Но вот поволок колонок
Безумного взгляда движенье.

И взгляд оторвался от рук,
Вотще разнимающих хвост,
Наверх, где без страха и мук
Грачи рассекретили скорость.

История, повремени!
Запомни, как в этом форсаже
И мы были птицам сродни.
А может быть, ангелам даже.

Лета Югай

* * *

Среди всех рыб, окуней и щук — Рыба-Кит.
Среди всех дней в году — Новый год.
Среди всех земель — та, над которой ангел парит,
зависает в воздухе и не хочет лететь вперед.

Он же знает, вперед — это назад от центра земли.
Деревянная луковка прячется в облаках,
а вокруг на тысячу верст снега намели,
а в окошке греется свечка в родных руках.

Ей дано растопить и печаль, и снега, и тьму.
Лошадь сено жует, окно горит до утра.
Все дороги идут от дома. Все приводят к нему.
И трепещет ангел над крышей, не летит со двора.

* * *

Мы греем одежду, которая ближе к телу,
дышим в перчатки, быстро идем вперед,
а манекены витрин стоят неумело
в шубах и свитерах, холодных, как лед.

Воздух колюч, он проникает всюду,
печка тела камерна и хрупка.
У тебя под шарфом подступает к горлу простуда,
у меня под мостом замерзла Москва-река.

* * *

маме

Между нами песок молчания,
земля междуречья,
заливные луга междуречья,
нейтральная бирюза.
Я временно исключаю
слова — щепки, колючки.
Ты понимаешь раньше,
что я хочу сказать.

Выброшены на пойму
коряги и перья совы,
посылки прошлого лета
почтой водною скоростной.
И я говорю — вспомни,
вспомни свое верховье,
когда ты еще не впала
в меня и не стала мной.

Мы ходим единым руслом
с тоскою о Черном море.
Не думай об этом соре,
что я несу по весне.
Свет воды твоей русой,
дна твоего история,
рыб моих траектория —
все и тебе, и мне.

Внутренние поля

Когда время падает до нуля,
мы уходим во внутренние поля,
разбредаемся по долам.
В это время комната как Земля.
Мир ее четверем углам.

* * *

Вот оно плывет-проплывает,
время летнее на дворе.
Стрелка толстая, часовая
еле движется по жару.

Вот оно плывет, за домами
желтым рыбьим глазом блестит —
счастье летнее между нами,
золотой улов, рыба-кит.

* * *

А еще я помню сныть на уровне глаз
и сквозь сныть деревянную крышу, темную, как крыло.
Возвращались с Реки. Река в тот день удалась:
в кулачке аммониты и кварц — богатый улов.

У дороги голая печь преграждала путь
(пробежать горелые бревна — убьет, только задень).
И внезапно — как славка в траве — предстал летний день,
дался каждым перышком. Мы боялись его спугнуть.

А потом обвалилась печь, иван-чай врос в кирпичи.
Улетела и темная птица — соседский дом.
Только дикий хлеб, приготовленный в той печи,
до сих пор ароматен каждым погожим днем.

Александр Герасимов

* * *

Говорю ни о чем ночами,
Обо всем, что есть за плечами
И о том, что сейчас и здесь...
А потом говорю про завтра
На правах того, что я автор,
Значит, знаю сценарий весь.

А ты слушаешь, ты киваешь,
Потому что сама понимаешь,
Отчего хорошо вдвоем,
Значит, об руку, значит, вместе,
Значит, думать о тили-тесте,
А недуги переживем.

И объятия-неразъятия
Начинаются поверх платья,
Заплетаясь в русость волос,
Чтоб до одури, до трепыханья,
Чтобы настежь второе дыханье,
Чтобы только вперед, под откос...

* * *

В кафешке тихо. Сидим в углу.
Есть два эспрессо и суп с котом.
Ты знаешь, милая, я могу
Сказать про все, что нас ждет потом...

Потом, когда заблестят глаза,
Потом, когда я открою зонт,
Когда мы двинем с тобою за...
За синей птицей, за горизонт.

Когда напротив — аквариум,
Где в синем свете плывут мальки.
И к черту все: и передний ум,
И утопающих, и буйки.

Когда озябнешь, я обниму...
Вокруг сентябрь трясет листвою.
Когда по лужам, когда ко дну
Пойдешь со мною, а я — с тобой...

Когда дыханьям крест-накрест лечь,
Когда измята уже постель...
Когда... Как голову будут сечь,
Не скажут дикторы новостей.

Я не читатель кофейных гуц,
Но кофе выпит. Зовет труба.
А что до мнимых эдемских куц,
То вряд ли мы попадем туда...

Сижу на самом что есть краю,
Но разве это не все равно?
Пойдем! Я руку тебе даю.
А сердце... Сердце твое давно.

Ах, да... Ведь я же сказать хотел
О том, что ждет нас с тобою впредь...
Да все, что можно желать от тел,
Плюс нежелание умереть.

Пусть рыбки в синей плывут воде
И сонно смотрят на наш дуэт.
Мы — здесь, напротив. И мы нигде...
Стекло меж нами. И весь сюжет.

* * *

На нашей широте кривая изотермы —
Красноречивый факт для будущих врагов.
Здесь можно выживать, когда стальные нервы.
Иначе лучше быть подальше от снегов.

Проходят дни, увы, в одних и тех же красках...
Поземка, гололед, в унынье города...
Здесь радость ребятам — под горку на салазках,
Но горе старикам — не греет борода...

А в общем-то, народ танцует не от печки.
Разбавив горькой кровь, чтоб не пробрал мороз,
Бубнит себе под нос матерые словечки
И смотрит на погост сквозь дым от папирос.

И как тут не просить скорейшего прихода
Проталин и других предвестников весны,
Когда метель во тьме пугает по полгода,
И все обречено, и безнадежны сны?..

И, может, — ничего, когда б ни лед да выюга.
Термометр застыл в предвечной мерзлоте.
Как хочется лететь за птицами до юга,
Как хочется тепла, но времена не те.

* * *

Сюжет уместился в черту меж дат.
Коротенький был сюжет:
Сначала — школьник, потом — солдат.
Обоих на свете нет.

И тот и другой, выходя за порог,
Рукою махали: «Пока!
До скорого!» Но все равно итог —
Суглинок и облака...

С землею ясно: в ее состав
Уходим, свершив труды.
А вот про душу букварь и устав
Как в рот набрали воды.

Так значит, требы свои умерь,
Но впредь живи, не горюй.
Ведь если хочешь – молись и верь;
Не хочешь – окстись и плюнь.

Приспееет время, всему свой срок,
Наступит и твой черед:
Услышишь свой самый последний звонок,
Как колокол (Хэм не врет).

Окончишь четверть, семестр, год.
Как по колее вековой, –
Безусый взводный, сырой окоп,
Ранение в штыковой.

И новый мальчик пройдет, как ты,
От школьной линейки до
Еле зримой – своей! – черты
Рубца между дат: «Итого»...

* * *

Мы б задохлись в чужих парижках –
Подавай родную округу!
А пойдем-ка, давай, на лыжах,
По реке, к гусиному лугу.

Как красиво! И сколько снега!
Голова шумит, как у пьяниц.
На щеках твоих от пробега
Проступает яркий румянец.

И мечты понеслись к загулу –
Не уступят лыжни призеру...

Мы в июле махнем под Тулу,
Чтобы ближе быть к чернозему,

Где за окнами плещет море
Офигенно белой гречихи,
Где закаты в алом миноре,
Где все ночи звездны и тихи...

У меня там домик от деда,
А в овражках тьма поляники!..
Я люблю тебя! Тега-тега...
Не нужны мне парижские блики.

Елена Исаева

* * *

Тупо смотришь в ночное
Лобовое окно.
Было счастье ручное —
Приручилось оно.
Мир, представший непресным,
Заискрился слепя,
Но казалось нечестным
Взять его для себя.
Ожидая ответа —
Ниоткуда и вдруг —
Заслужил ли ты это
Отрешенье от мук? —
Тупо смотришь на «дворник»,
Побеждающий дождь.
На каникулы, школьник,
Ты уже не уйдешь.
Не рыдая, не ноя,
Знай, тебе повезло:
Передышка — ночное
Лобовое стекло.

* * *

Он еще живой, но не вполне.
Этот лед растапливать не мне.
У меня на это нету сил,
Да меня никто и не просил.

Через горы, через города
Я когда еще вернусь туда?
У меня другой менталитет.
Я с другой судьбой на тет-а-тет.
И другой пейзаж в моем окне.
Этот лед растапливать не мне.
Я у всей вселенной на виду
Собираю яблоки в саду.
Как судьбу, любое находи:
Вариантов — много, рай — один.
В нем — все ясно, празднично, пестро...
Но случайно покачни ведро...
Яблоки покатаются туда —
Через горы, через города...

* * *

Проникновенно говорит он,
В любви мне признается — лав-лив —
А я слежу за темпоритмом
И думаю: он не талантлив,

Он вязнет в дебрях комплимента,
Он действие сейчас «сажает»...
И мне профессия мешает
Серьезность ощутить момента.

Он просит, чтоб решила сразу,
Я про себя решаю вяло:
Взяла бы в пьесу эту фразу,
А эту бы забраковала.

Была б во мне другая мерка,
Мы б закрепились в сплавах-сталях!
Но не могу без фейерверка
Ума и точности в деталях!

Не мучила, ночью не снилась,
Не злилась, практически нет,
Когда оценить доводилось
Не мне посвященный сонет.
И ни для кого не обуза,
Беспечно кивнув головой,
Я, словно ничейная муза,
Ночной улетала Москвой.
И где-нибудь вовсе некстати,
На чьих-то несомых руках,
Я слушала о сопромате,
Об опытах на червяках.
И рифмы ко мне приходили,
Качаясь на гребне строки...
Меня инженеры любили,
Биологи и моряки!

* * *

Жизнь ничего не украдет,
Она однажды все воздаст вам.
И вдруг такая ночь придет,
Где время сходится с пространством!

Достать до неба и до дна
Ты одинаково готова.
Ты с тем и там, где быть должна.
И нету ничего другого.

И все срастается в душе,
И все вокруг тебе послушно,
И на судьбинном вираже
Ты балансируешь воздушно.

И в кухне капает вода,
А в небесах звезда мигает.
И это слово — «никогда» —
Уже нисколько не пугает.

* * *

И был октябрь. И был апрель.
И дождь, как божья милость.
И столько раз открылась дверь,
И столько раз закрылась.
А я была почти золой,
Развеянной, остылой.
И я летала над Москвой,
Как над своей могилой.
Но сколько душу ни трави,
Она опять окрепла —
И я восстала из любви,
Как восстают из пепла.

Наталья Полякова

* * *

Ты спешешь на поезд, а тот никуда не спешит,
он едет размеренно, приходит по расписанию.
Это ты, затравленный жизнью, как Вечный жид
с городами знакомишься в два касания.

На вокзале суетно. Грузчики. Белый пар.
Проводник вытирает поручень рукавицей.
Челноки уже тащат в баулах проклятый товар.
Всюду мелькают, гудят незнакомые лица.

Вот перрон, а вот башня, на ней часы.
Переводишь время — стрелочник поневоле.
Встречающим зябко — прячут в шарфах носы.
И сверкает снег, как стекло на сколе.

Покупаешь в киоске карту, берешь такси.
А не хочешь — скользишь сквозь январскую стужу.
Но сколько ни путешествуй, сколько ни колеси...
Не пригодишься там. Но и здесь ты уже не нужен.

Жизнь тебя любит — если мучит и бьет под дых.
Быть добычей карманников
и гостиничных проституток
меньшее, в сущности, зло из возможных иных
в поисках времени, выпавшего из суток.

* * *

Просыпалась густая соль земли
на ближний лес, картофельное поле.
И зубья крыш под снегом залегли
без лишних слов, истерики и боли.

Заварен чай и начат разговор
о том, что повторялось многократно.
Соседский мальчик вывесил ковер,
почистил снегом и унес обратно.

Молочный день и черная река —
пространство для фантазии и цвета.
Плакучей ивы слабая рука
колышется легко, как шарф поэта.

К семи уже все тонет в темноте.
Но терпкий мир с застольем и юдолью
само опровержение пустоте,
как сущный хлеб, как бородинский с солью.

* * *

В той темноте, где ты меня оставил
без права на прощение, без правил,
жуком сухим в коробке из стекла,
я в ней — спала.

Я в ней спала и видела сады.
Не яблоки, но алые плоды
на ветках новым знаньем разрастались,
взрывая завязь.

Взрывая завязь времени, мы жили
не в том саду, но в тополиной пыли,
в отцветшем, душном, городском чаду,
где я иду.

Где я иду, а ты уже летишь —
горячий воздух с раскаленных крыш —
проносишься, не мною незамечен.
И день засвечен.

И день засвечен, пленку отмотав, ты
вытащишь ее, как космонавта
из капсулы, вернувшейся назад
сквозь мрак и чад.

Сквозь мрак и чад не виден млечный путь,
но если ручку двери повернуть,
сочится свет, а если дверью хлопнуть —
ночная копоть.

Ночная копоть, нам ее копать и
снимать ее, как траурное платье,
и дальше жить в невинной нагоде,
как ты хотел.

* * *

обнимаешь а смотришь мимо
лежим почти старики
мне уснуть необходимо
на излучине руки

скрипнула и приоткрылась дверца
выпали носки
четыре года живу без сердца
думаешь пустяки

в жизни моей от природы женской
многое делается по-мужски
свет блуждает за занавеской
мечутся мотыльки

паутина попала в полосу света
нити ее тонки
ночи прохладные на исходе лета —
не отнимай руки

* * *

Нас как будто забыли на острове.
Нет торговцев, и набережная пуста.
Сиротливых палаток ржавеют остовы.
Кусок пирса или строящегося моста —

непонятно что — разрезает волны.
Царапает небо кривой кинжал
гор молодых. Розовеют склоны.
Ветер меняет вектор. Плечи дрожат.

Обнимаешь и поворачиваешь, как в танце,
напевая шумящий рыбацкий мотив.
Мы заблудились, мы два иностранца,
наши вещи уплыли — прилив.

Ни коньяки и ни ирландские виски
не согревают так на сыром песке,
как руки твои. Облака — тяжелы и низки.
Вена пульсирует на виске.

Яблокопад

К тридцати понимаешь: не тех гнала и не тех любила.
Что с тобою кончено, с тобой уже все решилось.
Оттого лежишь ты раскрытая, как могила,
и напрасная, как взятая Троя, сожженный Пилос.

Но существуешь еще и движешься наугад,
после работы кемаришь в поезде торопливом.
А в тридцати километрах по бетонной дороге от МКАД
яблони зацвели в Гефсиманском саду сиротливо.

Так неявно, но верно земля прибирает к рукам
и упавший листок, и окурок, и случайное семя,
и твое родовое дерево, растащенное по кускам.
Его обживают жуки и паразитирующие растенья.

К тридцати принимаешь свой быт, он пропах табаком,
сыростью, пивом. И запах до пошлого стойкий.
А хочешь — как в детстве — мандаринами и молоком
в треугольных пакетах времен перестройки.

А хочешь, а хочешь... однажды вернуться назад,
где яблокопад барабанил, скрипели косые качели...
В тридцати километрах от МКАДа ждет брошенный сад,
там антоновки рано поспели.

Сага о московском пешеходе

1. Вот зима покидает в клубах снегопада и мыле
город хватких реклам и подержанных автомобилей,
и потерянных улиц, и граждан ее неимущих,
и наемных рабочих, ночами дороги метущих.

Сквозь разбухший асфальт проступают уток и основа —
этот сон по весне повторяется снова и снова.

Это ветхая жизнь вновь берется за глажку и штопку,
сортируя тряпье, отправляя ненужное в топку.

2. И дрожат лоскуты восходящего терпкого дыма
над домами и прочим в чаду городского мейнстрима.

И спешит пешеход перейти на зеленый погасший,
на ходу оступается в едкой бензиновой каше.

Повторяй вслед за ним этот опыт случайных падений,
чертыхайся, вставай, оставляя следы от коленей.

Заблудись в переулках столицы — то рваной, то ровной —
Отыщись в запустелом дворе за гудящей Садовой.

Остановок разбитых, ларьков и контейнеров ржавость —
позвонки продуваемых улиц. Не холод, но жалость

пробирает до дрожи. А может быть — мартовский ветер.
Раскачает фонарь, и фонарь полдороги осветит.

3. Словно ворох газет, словно старые вещи на выброс,
возвращаются птицы в разбитые гнезда на вырост.

Эти пятна в ветвях как разбухшие шляпы из фетра.
И, срезая крылом холодок ослабевшего ветра,

нам одним не вернуться — нам некуда здесь возвращаться.
Приглушенной тоской и прощанием встречи сочатся.

Где был дом у реки, там штыри и сухие будьяля.
Осторожно снимай отсыревшие тяжкие крылья.

Над водой провода и мостов почерневшие скобы —
посмотри на канал, помеси башмаками сугробы.

И иди к остановке трамвайной, на вымпел похожей,
обескровленным, то есть бездомным прохожим.

4. Вот подъедет трамвай, разгоняя наплывшую скуку,
И покатится прочь, узнавая маршруты по стуку.

А придешь на вокзал, закажи себе водку с нарезкой.
Не бери на обратный, одной обойдешься поездкой.

Отправляйся, спеши: керосиновый, дачный, звенящий,
лес растет корабельный, тугими ветвями гудящий.

Отправляйся к истокам вечерней пустой электричкой.
Где бетон уступает темнеющей кладке кирпичной.

Где кирпич уступает замшелой сухой древесине.
Где за полем река. Где река подо льдом темно-синим.

Леша Ефимов

Тот кто тебя зовет

он все еще поет
слышишь моя лилит
тот кто тебя зовет
тот кто в тебе болит
вспомнишь несложный шифр
кажется повезло
это число без цифр
правильное число
щелкнет замок упруг
раною заживет
чтоб не дозвался вдруг
тот кто тебя зовет
тот кто тебя зовет
словно из тьмы глядит
рыба не доплывет
птица не долетит
ангел не попадет
сломанною стрелой
целая жизнь пройдет
этою стороною
чтоб по пути на ту
искрою из огня
вырвалось в темноту
любишь еще меня
и тишина в ответ
капая как вода
нет

дорогая

нет

да

дорогая

да

Коктебель — Фиолент

Птицы крошками со стола, трасса, пестрая, как френдлента. Это место, где ты жила, называется Фиолента. Южный день невесомей сна, крымский воздух хмельнее пива, и укачивает волна — дзен массандровского разлива. Небо Бог рукавом протер, лодки — на сковородке шкварки...

Жизнь, бездарная, как актер, исполняющий все ремарки.

Грели южные холода, детки трахались, барды пели. Как скучал по тебе тогда я, оставшийся в Коктебеле! Мир, как будто перед концом, натянулся подобьем лески. Что спасало? Здоровый сон да короткие эсэмэски. Будет жаль, и когда умру: мне рвануться к тебе сквозь мрак бы, лед пробить, прорубить кору и добраться до чистой магмы, утром в ухо тебе вздохнуть — не отыщешь волшебней зрелищ — и шепнуть: «Я не мог заснуть. Я боялся, что ты исчезнешь».

Ведь иначе и нас с тобой, тех, кто в теме и кто не в теме, — всех в единый культурный слой беспощадно спрессует время. Это просто как снег, смотри: если б мы хоть чуть-чуть любили, то истлели б календари и будильники не звонили.

Ибо выведено давно, до Норд-Оста и интернета: мир способно спасти одно, если ты и не веришь в это, ибо только любви глоток даст нам выдержать свой экзамен, ибо где и возможен ток — между разными полюсами, ибо страждущим первый приз не сулит ни бабла, ни чина.

Ибо все, что имеет смысл, —
это Женщина
и Мужчина.

Стихи о счастливой любви

Фирузе

В раю должна быть комната свиданий,
Не без вины прощения просить —
Хотя бы покалякать без рыданий,
Хотя бы передачи приносить.

Спросить, чем кормят, сплетнями махнуться
И, передав поклоны от родных,
Домой, в осиротевший мир вернуться
До следующих свободных выходных.

Мы и при жизни были не чужими,
И потому, в раю ты иль в аду,
В час суток, предусмотренный в режиме,
Не удивляйся, если я приду.

Я доконаю клерка-паразита,
Заполнив бланк, как водится, сперва:
«Соскучился» на строчке «Цель визита»
И прочерк вместо степени родства.

Войдешь и поглядишь недоуменно,
Неловко помолчим и сядем под
Плакат «Болтун — находка для шпиона!»,
Где ангел пальцем прикрывает рот.

Пузырь достану, банку шпрот открою,
Отгородясь от прочих душ и тел
И глядя на тебя с такой любовью,
С которой и при жизни не глядел.

Перемывая косточки знакомым,
Стараясь цепь капризных слов связать,
Замаскируем светским разговором,
Что нам друг другу нечего сказать.

На райских шопках вывески включатся,
Господь по небесам рассыплет медь,
И, намекая, что пора прощаться,
Уборщица ведром начнет греметь.

Я побреду домой по мерзлым лужам,
Уверившись, что смерть не так страшна:
В той жизни я тебе уже не нужен —
А в этой ты мне больше не нужна.

* * *

Вы, пишущие по-русски,
Но плавающие язык,
Вы – армия трясогузки,
Вы – новый ее призыв,

Вы, люди иного рода,
Ходячие словари.
Вот ты говоришь – свобода.
Я слушаю. Говори.

Застрявшею в горле костью
Всемирному бла-бла-бла,
Творец – он гуляет с тростью
За гранью добра и зла?

Сорвавший с себя погоны?
Не плачущий ни о ком?
Творцу не нужны законы?
Он сам для себя закон?

Как Родина-мать с картинки –
Откуда и спесь взялась? –
Ты сплюнешь мне на ботинки
И скажешь: «Ты понял, мразь?»

И я, пейзажист-дальтоник,
Неместный, невыездной,
Последний силлаботоник,
Практически крепостной.

Как нарочный, в лепрозорий
Принесший благую весть,
Стоптавший ступни в мозоли,
Скажу тебе, кто ты есть:

Геракл локальных драчек,
Напившийся без воды,
Забившийся в угол мальчик,
Боящийся темноты,

Владелец бессрочной брони
На небо для одного,

Как будто тиран на троне,
Со скипетра своего

Сдирающий позолоту
В отчаянии тупом.
Вот это твоя свобода?
Тогда я умру рабом.

* * *

Что нужно в этой жизни нам, калекам —
Таким больным, смешным и небольшим?
Хороший секс с хорошим человеком,
Душа для тела, тело для души.

Жизнь — это прятки, только все мы водим
По воле незатейливых страстей.
Нам кажется, что мы еще находим —
Но все находки горестней потерь.

Где от души к душе вчера был мостик —
Лишь камни да сигнальные огни.
Все больше лет, все меньше удовольствий,
Все дольше ночи, все короче дни.

Когда тела, устав поодиночке,
Как водится, в кладбищенской тиши
На поисках своих поставят точку —
Душа продолжит поиски души.

Уж их-то не минует эта встреча,
Таких больных, смешных и небольших.
Им хорошо — у них в запасе вечность;
Им плохо — вечность впереди у них.

Когда найдут друг друга наши души,
Лишь тишина сумеет их связать —
Ведь это все, что ты умеешь слушать,
Ведь это все, что я могу сказать.

Крик души

Не близкая и не родная,
Не фунт изюму, наконец;
Кокетка, кукла заводная —
А вот поди ж, создал Творец.

Пусть ты орел, но выйдет решка:
Высок душой, учен лицом —
Одна лукавая усмешка,
И ты становишься самцом.

Придет, как туча грозовая,
Как форс-мажор, как Высший Суд —
Все три твои образования
Тебя, Кулибин, не спасут.

Ведь чтоб нелепой лысой птицей
Ты в эмпиреях не витал,
По поводу своих амбиций
Иллюзий праздных не питал,

Деталью далеко не лишней
По центру тела, между ног
Предусмотрительный Всевышний
Тебе приделал поводок.

Будь ты качок, будь ты очкарик —
Раздут Божественным огнем,
Как радужный воздушный шарик,
Всю жизнь болтаешься на нем.

Так радуйся — чего мешает? —
И ей, и Мастеру простив,
Поскольку это с ней ты — шарик,
А без нее — презерватив.

* * *

Последний воин Чингисхана,
Который пережил вождя, —
На шраме шрам, на ране рана,
И кости ломит от дождя.

С соседом о дороговизне
Неспешный треп, поход к врачу..
Что, кроме смерти, знал он в жизни?
Любовь — к седлу? Любовь — к мечу?

Забывший с детства, как смеяться,
Грудь — бочкой, ноги — колесом.
Ему убитые не снятся —
С его здоровьем разве сон?

Скача в степи с травой вровень,
Рабынь насилая стрелой,
Вдыхая свежий запах крови
И запах падали — гнилой,

Умея в бурю ставить снасти,
Не чувствовать, когда болит,
Он думал, что получит счастье, —
А получил радикулит.

Как ветер сух; как палка сломан,
Он помнит: юношей, в игре —
Как сделал куклу из соломы
И подарил своей сестре.

Его душа покинет тело
И двинет к Богу налегке...
Он больше ничего не сделал —
Он будет с куклою в руке.

* * *

Нету счастья поэту,
А поэт давно привык —
То размажут по паркету,
То порежут на шашлык,

То закон кропает Дума —
Не погань культурный пласт,
То какая-нибудь дура
Обязательно не даст.

То пристанут хулиганы,
То в отечестве бардак.
Но поэт, и в жопу пьяный,
Помнит — он не просто так.

Он не зря стоит у кассы,
Он свой хлеб жует не зря —
Он несет культуру в массы,
Деликатно говоря.

Видишь, он, порвавши тельник,
В луже, пьяненький, лежит?
Дай ему немного денег,
Если ты еще мужик.

Ну а что, в грехах упрямо
Вместо чтобы обвинять,
Может дать поэту дама —
Мы не будем заострять.

Повторить согласен это
И под пыткой, ребя:
Уважай, говно, поэта!
Он страдает за тебя.

* * *

Тамерлан, Клеопатра, Коба,
Бродский, Сафо, Камю, Брюс Ли —
все мечтали любить до гроба.

Все мечтали.

Да не смогли.

Одиноким до боли ты был —
одинок оставайся впредь,
ибо самый хороший выбор —

это выбора

не иметь.

Вставший в очередь гений жалок,
и беспомощен аватар.

Одиночество — не подарок.

Одиночество —

это дар.

драма

The letter 'М' in the title 'драма' is stylized to resemble a person's legs and feet. The vertical strokes of the 'М' are thin lines representing legs, and the bottom horizontal strokes are replaced by two pairs of shoes: a simple black shoe on the left and a polka-dot shoe on the right.

Вадим Леванов

Евгений Казачков

Ксения Степанычева

Ирина Чечина

Александр Молчанов

Максим Курочкин

Кухня

Переделкинские совещания всегда были «кухней» и в прямом, и в переносном смысле слова. Ведь не только на семинарах, но и потом — кулуарно — за «чашкой коньяка» в ночи всегда можно было обсудить все наболевшее. Замыслы, сюжеты, герои «обкатывались» на старших и младших товарищах. Обсуждая одну пьесу, драматурги, как водится, сочиняли еще десяток на эту же тему — сколько народу присутствовало, столько и сочинялось тут же пьес. И это нормально — у каждого своя дорога, свое видение, своя эстетика. А уж дело обсуждаемого — принять, отвергнуть, отсортировать, воспользоваться советом коллективного разума, дотянуть, дожать, докрутить собственный шедевр.

Через Переделкино прошли очень многие известные сегодня авторы — цвет современной драматургии. Здесь обсуждали Вадима Леванова, выросшего потом не одно поколение тольяттинских драматургов. Его «Ксения Петербургская» в Питере стала событием прошлого театрального сезона.

Здесь вынашивал свои замыслы, гуляя по дорожкам, Максим Курочкин, чья «Кухня» с Олегом Меньшиковым стала в свое время знаковым событием московской сцены. «Кухня»! — опять же.

В совещаниях участвовали Родион Белецкий, Александр Молчанов, Евгений Казачков, чьи фамилии теперь не сходят с экранов телевизоров в титрах отечественных сериалов, а в театре они известны как ведущие авторы «Новой драмы».

Алена Нестерина стала одним из самых популярных детских авторов. Пьесы Александра Коровкина — сначала семинариста, а потом и руководителя семинара — идут «пожаром по стране», продолжая нелегкую линию деревенских комедий. Его «Кукла для невесты» собирает в «Табакерке» полные залы.

Это «нетленки» наших ребята составляли в свое время костяк фестиваля «Любимовка», покоряли лондонский «Роял Корт» и сейчас блистают на европейских фестивалях, переводятся на разные языки мира, ставятся в России и за рубежом.

Именно здесь мы делились своей «кухней», именно здесь о своей «кухне» нам рассказывали уже, к несчастью, ушедшие, но всегда с любовью вспоминаемые Михаил Рощин и Михаил Шatrov. Именно отсюда брали свое начало многие дружбы и твор-

ческие союзы, ибо драматургическое братство — вещь особенная, помогающая жить и выживать.

В этот сборник по понятным причинам не смогли войти «полнометражные» пьесы. Но драматурги умеют все — в том числе и изъясняться коротко, поэтому представляем вам короткие произведения, прекрасно сознавая, что краткость — сестра таланта.

Елена ИСАЕВА

Вадим Леванов

Лабиринт

...совершить то, что предназначено мне...
то, что суждено совершить мне, — знают все...
то, что предстоит мне свершить, — знают мойры...
и тот, кого я должен убить, ждет меня...
Сегодня идет снег. Белый, мягкий, как пух...
Все знают всё... и я знаю всё... и тот, кто ждет меня, — знает всё...
я знаю, что должен убить его... я знаю, что его сестра поможет мне
убить его, потому что полюбит меня...
я знаю, что отец покончит с собой, шагнув в пустоту, слепыми глазами увидев мираж — черный парус...
Там, под землей, в храме Двойной Секиры, глубоко, в огромном, как город, Лабиринте, меня ждет тот, кого я должен убить...
сын блудливой Пасифаи, сладострастной жены Миноса, и быка из стада Посейдона.
я знаю, что его зовут — Астерий... чудовище... человек с головой быка... брат Ариадны...
я знаю, что предстоит мне... а еще я знаю то, чего не знают они... никто не знает... ни мойры, ни Оракул, ни Пифия...
я знаю, что я уже не вернусь...
Каждый день я спускаюсь в Лабиринт — в это гигантское подземелье, залитое светом...
тысячи людей спускаются вместе со мной...
они уже перестали бояться... они знают все... они не узнают меня и никогда не узнают...
тысячи людей стали тенями, создавая это чудо — подземный город, Лабиринт Астерия...
каждый день я спускаюсь на несколько минут... я привыкаю... я готовлюсь...
а потом поднимаюсь наверх...

где есть небо, по которому катится колесница Гелиоса, есть звезды, названные в честь богов...

идет снег...

Скоро я буду готов...

совсем скоро...

сегодня...

Все остается позади...

Ариадна, прости!..

твой дар остался в номере... на стеклянной полке в ванной комнате... рядом с моей опасной бритвой, зубной щеткой... дешевым гостиничным мылом в разорванной розовой упаковке, лосьоном после бритья...

Ты ушла утром, пока я еще блуждал в туманных туннелях царства Морфея...

что мне снилось?..

то же, что и всегда...

Лабиринт, бесконечный, как вселенная, темный и непознаваемый...

ты не нарушила моего сна...

Ариадна!..

твой дар лежал на стекле, отраженный туалетным зеркалом, — флос, зубная нить...

ты оставила ее мне — свою нить...

забавно... я знаю эту историю про нить, как и все знают ее... хотя они не знают... тем не менее было забавно, что твой дар выглядел именно так — зубная нить, флос...

Ариадна!..

я увидел тебя только вчера и сразу понял, что это ты, узнал тебя...

и тебе не нужно было ничего говорить, не нужно было называть свое имя...

долгой ночью... неистойвой, как вакханка...

на моей спине кровавые борозды, словно ты хотела вспахать мою плоть, чтобы засеять зубами дракона...

следы твоих зубов на моей шее и плечах...

было больно под горячей струей душа...

Мне нужно идти дальше... нужно спуститься по каменным ступеням...

может быть, их нужно сосчитать, на счастье... но я всегда сбиваюсь со счета...

я иду мимо этих женщин, похожих на мойр, с сигаретами, газетами, журналами, как трупики запаянными в целлофан... иногда у них в руках маленькие пучки каких-то желтых цветов...

мне нужно пройти этот длинный переход...

где оборванные нищие-попрошайки с картонками на шее, как приговоренные к казни преступники; на табличках — перечисление всех их вин и грехов...

и калеки, и грязные женщины с маленькими детьми на руках, может быть, уже мертвыми...

Все они охраняют вход...

в Лабиринт, в котором ждет меня Астерий...

первая буква другого его имени — Минотавр, и одновременно — символ Двойной Секиры — всегда горит над каждым входом в подземелье, в его владения, в Лабиринт...

где тени движутся, словно спят на ходу, их глаза не останавливаются ни на чем, словно они слепые, они движутся, движутся бесконечными потоками...

я знаю, что это люди, ставшие теньями...

Ариадна!..

твой дар — твоя нить осталась там, наверху, в номере отеля...

мне не нужен твой дар, как не нужна твоя любовь, за которую я заплатил...

потому что мне никто и ничто не может помочь...

пройти этот бесконечный переход, полный теней... чтобы спуститься глубже...

пройти его до конца, пройти сквозь стеклянные двери, сквозь сухой душный ветер, а там — ступени, которые сами несут меня вниз, где начинается Лабиринт и царство Танатоса...

залы, залитые светом, который светлее, чем свет дня, мраморные колонны, гранит, изразцы, мозаичные панно и лепнина на сводчатых потолках, бронзовые статуи героев...

в конце пустого зала — все-все, даже тени остались позади, в конце — черный, как отверстая пасть чудовища, вход; в разветвления его нор — в Лабиринт...

Астерий! Минотавр!..

никто не знает, какой он на самом деле...

потому что он совсем не такой, каким его представляют, каким рисуют его на амфорах и кубках, иллюстрациях в книгах по греческой мифологии — человек с головой быка...

нет!..

он куда более страшен, он громаден, велик...

гигантский червь, сделанный из железа, прорывший эти переходы, эти туннели, эти гроты, этот Лабиринт под землей...

хтоническое чудовище, огромный железный червь, живущий в темноте, пожирающий души и плоть...

длинные железные полосы на земле — его след, уходящий во тьму...

я стою на краю, я спрыгиваю вниз...

кажется, кто-то кричит у меня за спиной, кто-то из сонма теней...

я иду по его следам...

Мертвый ветер, бьющий в лицо, и гул, пока еще далекий, но нарастающий, а еще страх, стальными иглами вонзающийся в кожу, предвещают его явление...

я вступаю во тьму... и мне страшно...

потому что я знаю, что я не вернусь никогда...

Готов ли я?.. я готов, я жду тебя, Астерий!.. я иду навстречу тебе!..

Ариадна, прощай!..

прощай, отец!..

прощайте все!..

Я вижу его глаза!.. они светят так ярко, они ослепляют, они губительны, как взгляд Горгоны или василиска...

гул превращается в грохот — он все ближе... Я хочу вернуться... но не могу...

и я не могу победить его...

потому что никто из смертных, и даже боги, не смогут одолеть это чудовище — Минотавра...

ослепленный, иду я навстречу своей смерти...

Я — Тесей, потомок Эрихтония, рожденный из семени Гефеста, потомок Краная, потомок Кекропа, сын Эгея, сына Посейдона, моя мать — Эфра, предки ее — Пелоп, отец Титфея, Атрея, Фиеста, а значит — Тантал... и, значит, — сам Зевс...

я не могу совершить то, что предназначено мне...

Прощай, Ариадна!

— Да, товарищ сержант, я ж говорил же уже... Ну откуда я знаю-то, блин? Ну видел... Ну, он, значит, так подошел к краю перрона, ну и потом, оп! — спрыгнул, блин, и пошел в туннель... Ебнутый! Ой, извините!.. А там поезд как раз тут!.. Может, пьяный, я же не нюхал его! С ним не пил! Может, укуренный-ширнутый — наркоман, может... Может, переключило у него в башке, он решил, что он это... Анна Каренина... Что?.. Кто умничают? Я — нет! Нормальные у меня зрачки! Да вы че, блин! Я-то при чем, вообще?!.. Мои-то вам зачем документы?.. Вот б...!!!..

Евгений Казачков

Песнь пятая

Действующие лица:

Екатерина
Участковый
Алексей

Домик на полустанке. Екатерина перед зеркалом расчесывает волосы. Открывается дверь, в комнату заглядывает участковый.

Участковый. Тук-тук. Ты дома, Катерина? *(Замечает ее.)* А... Ну, здравствуй. Чего у тебя открыто все?

Екатерина не реагирует, продолжает расчесывать волосы, напевает что-то. Участковый заходит, садится на стул, отдувается.

Участковый. Уф... Далеко тебя забросило все-таки... Пока добрался по колдобинам этим... Мдааа... У тебя тут, наверно, редко гости бывают, а? Ты хоть узнаешь меня, Кать?

Екатерина *(не оборачиваясь)*. Нет, не забудут друг друга вовеки бессмертные боги, даже когда б и великое их разделяло пространство. Имя твое — быстроногий Гермес, сын могучего Зевса. Верным посланником служишь всегда ты богам олимпийским.

Участковый. А... Ты все этим делом увлекаешься... Еще со школы. Помню, помню. Сколько уж лет прошло... Только я теперь не просто сын, Катерина. Я участковый. А вот насчет посланника — это точно. Я к тебе с посланием... Дело, в общем, серьезное. Ну, что ты не повернешься даже... Ты меня слышишь вообще?

Екатерина. Слышу, носитель жезла золотого, почтенный и милый. Гость мой, зачем прилетел? У меня никогда не бывал ты. Прямо скажи мне, чего ты желаешь? Охотно исполню. Если исполнить возможно и если могу я исполнить. Прежде, однако, войди и прими от меня угощенье.

Участковый. Да я уже вошел, в общем-то... Угощение... Ну, чаю мне налей, что ли, я не знаю.

Екатерина ставит чайник на огонь. Садится напротив участкового.

Екатерина. Слушать тебя я готова, проворный посланец Зевеса.

Участковый. Ты вот это все, Катерина, оставляй. Школьные наши с тобой дела — это одно, но нам тут не до шуток уже всем. (*Внимательно смотрит на Екатерину, стараясь понять, настроилась ли она на серьезный лад.*) Вот. Ты помнишь, у нас зимой поезд скорый с рельсов сошел? Ноль сорок три жэ. Авария была. Еще бы ты не помнила. Прямо после твоего отрезка. Людей там покалечило много. Трупы... Эмчээс на вертолетах прилетало. Шуму тут было, конечно... Мда... Но вообще они хорошие ребята, эмчээсовцы эти. Мы с Валентином Петровичем вот до сих пор эсмэсками переписываемся. Такой прямо наш мужик оказался...

Свистит чайник. Екатерина встает, заваривает, ставит на стол чашки.

Участковый (*отхлебывая из чашки*). Да только вот какая штука, Катерина. Не досчитались тогда пассажира одного. Мне-то, сама понимаешь, это все не ребром. Лишний шум на участке. И эржэдэ тоже нет смысла такой пиар педалировать. А Валентину Петровичу с его ребятами вообще только спасибо одно. Вот... Но есть человек, которому неймется, Катерина, есть. Жена этого недосчитанного. Она там, в Москве у себя, всех уже письмами и запросами забомбила. Министерства, ведомства, отделения... Ну, тоже ведь понять можно. Как это — пропал? Куда же он подевался? В лесах, что ли, скрывается? Мда... Вот она и пишет им. А они, соответственно, в областной наш запросы шлют. И оттуда все стрелки куда? Сюда вот. На нас. То есть на меня. Мол, расследуйте, доложите, отчитайтесь. Куда растворился Корольков Алексей Владимирович семьдесят первого года рождения, одиннадцатый вагон, место номер четыре, верхняя полка. Дело взято под пристальный контроль. Понимаешь?

Екатерина. Нет.

Участковый. А ты понимай. Вот, честное слово, лучше — понимай. Я лично на тебя давить не хочу, но границы переходить не надо. Чего там после аварии было, мы никто не знаем и раскапывать не будем, но почтальон видел, что у тебя тут кто-то есть. В окно видел. И по описанию этот кто-то очень похож на Королькова Алексея Владимировича.

Екатерина. В толк не возьму я, о чем ты беседу ведешь многомудро.

Участковый. Так, Екатерина. Если ты по-человечески не понимаешь, я с тобой по-другому поговорю. Ты здесь в отрыве от цивилизации, конечно, я на это скидку делаю, но ты меня лучше не вынуждай.

Екатерина. Как мне понять то посланье, с которым ты прибыл поспешно, если темнишь ты и речи мутны, словно стиковы воды?

Участковый. Все, Катерина. Я тебя предупреждал. Сейчас будем по-другому разговаривать. Все я правдиво тебе сообщу: ведь сама мне велишь ты. Зевс приказал мне явиться сюда, хотя сам не желал я. Кто ж добровольно помчится по такой шири бескрайной моря соленого, где не увидишь жилищ человека, жертвами чтящего нас, приносящего нам гекатомбы! Это что у нас такое — гекатомба? Это жертва из ста быков, помню. Мда... Зевс говорит, что находится здесь злополучнейший самый муж из героев, что девять годов осаждали упорно Трою, в десятый же, город разрушив, отплыли в отчизну. При возвращенье, однако, они раздражили Афины, ветер зловерный и волны большие она им послала. Этого мужа велит он тебе отослать поскорее. Ибо ему не судьба в отдаленье от близких погибнуть, но суждено ему близких увидеть и снова вернуться в дом свой с высокою кровлей и в милую землю родную. Вот такое у меня к тебе, в целом, послание. И если ты, Катерина, сейчас снова ваньку валять начнешь, то не забывай, что я на полный оборот это дело запустить могу. Уж тогда мы и причины аварии по новой перетрясем, и повесят на тебя не только саботаж на путях, диверсию и терроризм, но и удержание заложника. И еще у нас тут свои глушняки имеются. Это если ты хочешь официально. Я лично не хочу. Мне это все ни к чему. Пока что не хочу. И пугать тебя тоже не хочу. Отпусти его по-хорошему. Давай не будем затевать эти ордеры, обыски...

Екатерина. Как вы жестоки, о боги, как завистью всех превзошли вы! Вас раздражает, когда мы, богини, приемлем на ложе смертного мужа и нам он становится милым супругом. Так с Язионом Деметра на трижды распаханной нови соединилась любовью и ложем, послушавшись сердца. Очень недолго об этом в неведение Зевс оставался. Молнией он Язиона убил ослепительно белой. Так же и мне не даете вы, боги, остаться со смертным.

Участковый (*тихо*). Кать, ну чего ты уж прямо так сразу... Я же не знал, что у тебя такое прямо отношение серьезное.

Екатерина. Я его в море спасла, когда одиноко сидел он на опрокинутом киле. Корабль его молнией белой надвое Зевс расколол посреди беспредельного моря. Все остальные друзья его в море погибли бурлящем, схваченный бурей, сюда был он ветром и волнами брошен.

Здесь приютивши его и заботясь о нем, я хотела милому дать и бессмертье, и вечноцветущую юность...

Участковый *(с неподдельным интересом)*. А он-то сам чего?

Екатерина. Он на обрыве над морем сидит и из глаз непрерывно слезы роняет. В печали по родине капля за каплей жизнь из него утекает. Не нравлюсь ему я уж больше. Ночи, однако, в постели моей проводил он охотно... Но это все прежде...

Участковый. А чего же он сам не уходит? Боится до станции не добраться? Раненый он или как?

Екатерина пожимает плечами.

Участковый. Не понимаю я этого всего, Катерина. Ерунда какая-то. Ни то ни се. Так нельзя в любом случае. Не знаю, что у вас там происходит, но повелений Зевеса эгидодержавца не смеет между богов ни один отклонить от себя, ни нарушить. В общем, чтобы завтра его здесь не было. Иначе я тебе тут такой гнев богов устроить могу, сама понимаешь. Не хочу. Но могу.

Екатерина. Пусть он — когда уж того так упорно желают все боги — морю неверному снова предастся. Помочь я не в силах: нет корабля, ни людей мореходных, с которыми мог бы он безопасно пройти по хребту многоводного моря. Дать лишь совет осторожный властна я, дабы отсюда он мог беспрепятственно в милую землю отцов возвратиться.

Участковый. Вот-вот. Волю Зевеса уважив, немедля его отошли ты, или, богов раздражив, на себя навлечешь наказание. Хотя, конечно, это плохо, что ни людей мореходных, ни корабля... *(Задумывается. Потом, будто очнувшись, встряхивает головой.)* Какое море? Какие корабли?! Я тут сам с тобой с ума сойду. По старой памяти. *(С подозрением смотрит в свою чашку. Сиронией.)* У! Ведьма!.. Корабли... На поезд его — и все. Свяжись с машинистом, скажи, что там... работы на путях или проверка... я не знаю... стрелку заклинило, скажи... В общем, тормозни состав. Тут же все в твоих руках. И домой его, домой. К Пенелопе Ивановне Корольковой.

Екатерина. Выполню в точности это богов повеленье, посланник. Не утруждай себя более ты уговоров словами.

Участковый. Вот и хорошо. Пойду я. Но смотри. Как договорились.

Екатерина кивает.

Участковый. Не понимаю я тебя все равно. Зачем вот это все? Игры эти... Мужика у себя держишь насильно практически... Да ты же

любого можешь... Только помани... Только слово одно скажи... (*Уходя.*)
Такая баба красивая! Такая баба! Вообще почти не изменилась...
Нимфа Калипсо, свет меж богинями, ликом затмит Афродиту... (*Уже из-за двери.*) И не дура же при этом, в принципе...

Входит Алексей.

Алексей. Приезжал кто-то? Да? Кто-то был сейчас? Был? Почтальон?

Екатерина. Успокойся. Чего ты.

Алексей смотрит в окно.

Алексей. Или не был... (*Садится, вздыхает, задумывается.*) А знаешь, я чего придумал? Давай ты не Калипсо, а Европа. А? И как будто Зевс принял облик скорого поезда ноль сорок три жэ и похитил тебя. Ну и меня заодно.

Екатерина. Зачем?

Алексей. Ну... поедem в Москву. Вместе.

Екатерина. Я тебе и здесь-то уже надоела. А там ты сразу растворишься.

Алексей. Почему? Ты мне очень нравишься. Будем жить. Давай, а?

Екатерина. Нет. Ты все-таки не Одиссей. Он хоть по жене скучал, к ней мечтал вернуться. А ты никого не любишь. Ни ее, ни меня. Ты по городу скучаешь, а не по семье. И ничего тебе не нужно, кроме этого большого города.

Алексей. Неправда! Ты мне нужна. Только зачем же здесь сидеть, когда там столько возможностей? И для тебя в том числе. И работа, и книги, и интернет. Кино какое хочешь! В институт поступишь, на исторический, а? Ты же умная женщина.

Екатерина. Ну да. Не дура. Я все время о возможностях думаю. У тебя, например, там тоже будет возможность. Избавиться от меня поскорее.

Алексей. Кать, ну зачем ты так. Я же тебе очень благодарен. Ты же спасла меня. И вообще... (*Пытается ее поцеловать.*)

Екатерина (*отстраняется от него*). Не надо. Не надо врать. Я же все понимаю. Это для тебя просто отпуск. От работы отдохнул, от жены. Ехал из командировки — и вдруг такая неожиданная радость. Поезд с рельсов сошел. А ты и жив остался, и потрахался. Внеочередной отпуск. С приключениями. Игра.

Алексе́й. Игра? Это я тут в игры играю?! Это я, что ли, гекзаметром говорю? Я в постели древним греком прикидываюсь? Хорошо. Допустим, в постели прикидываюсь. Но это совсем другое. Совсем. Разница есть. А ты — реально заигралась.

Екатерина. Не смей! Слышишь?! Замолчи!!

Алексе́й (*распахивая окно*). Это не море! Это рельсы! А вот это вот — не Олимп. Это херня какая-то, а не Олимп. Здесь от Олимпа только вот эта вот олимпийка на мне. Нимфа, блин. Игры у нее. Вырасти пора уже! Повзрослеть!

Екатерина. Хватит! Перестань! Это не игра! Не игра! Не надо так... Ты не понимаешь... Это... Это же... Я же не виновата, что здесь родилась. И что все это *сейчас*. Я хочу по-другому... Всегда хотела... Как у них тогда... Там... солнце... и воздух... и все пахнет морем и камнями горячими. И люди все оливковые. И боги тоже оливковые... Но оно же никуда не делось! Я еще в школе поняла — ничего никуда не делось. Все осталось. Все осталось так же. Везде. Навсегда. Нужно только видеть. Нужно верить. Оно есть. У меня только оно и есть. Понимаешь?

Алексе́й. Я понимаю, что ты сама никого не любишь. Ты любишь Древнюю Грецию. Вся твоя любовь не здесь и не сейчас.

Екатерина. Дурак! Ничего ты не понял.

Алексе́й. Да все я понял. Не нравится тебе тут. А уезжать не хочешь. Боишься.

Екатерина отрицательно качает головой.

Екатерина. Дурак...

Алексе́й. Ты меня не отпустишь?

Екатерина. Отпущу. Завтра утром остановлю для тебя поезд.

Алексе́й (*не веря своим ушам, радостно*). Правда?! (*Более сдержанно*.) Это потому что я дурак?

Екатерина. Я повинуюсь решению бессмертных богов, мой любимый. Есть олимпийцы, что выше меня и в решении, и в деле.

Алексе́й. Так это милиция, что ли, приезжала? Или кто?

Екатерина. Да.

Алексе́й. Что да?

Екатерина. Да, я отпускаю тебя, потому что ты дурак.

Алексе́й (*бросаясь к ней, судорожно обнимая и целуя лицо, шею, руки*). Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо... Хорошая моя, сладкая, оливковая... А как же я без денег, без документов? У меня же все тогда пропало...

Екатерина. Договоримся с проводником... Чего уж...

Алексей. Богиня!

Алексей подхватывает Екатерину на руки, несет на кровать. Екатерина беззвучно плачет. На сцене темнеет.

Голос Екатерины. Состав ноль сорок три жэ. Остановитесь на отметке двенадцать. Нет, ничего такого, но лучше остановитесь. Стрелку заклинило, проверить нужно все. На минуту буквально при- тормозите.

На сцене становится светлее. Екатерина сидит одна. Невеселая. Открывается дверь, в комнату заглядывает участковый.

Участковый. Катя, привет. *(Заходит, прячет что-то за спиной.)* Ну, чего? Отправила его.

Екатерина кивает.

Участковый. Ну и правильно. И хорошо. И все довольны. Раз он не ценил, тем более... Я тут знаешь чего решил? *(Достает из-за спины букет.)* Вот. Я не знаю, как у древних греков принято. Не помню уже. И у богов тоже...

Екатерина изумленно смотрит на него, он протягивает ей букет, но поскольку она сидит, а он стоит, жест получается каким-то неловким и некрасивым. Чтобы исправить положение, участковый становится на колени.

Участковый. Ты же не Калипсо. Ты Афродита. Ты Елена Прекрасная. Ты, я не знаю, Ариадна. Я готов быть кем угодно. Гераклом, Периклом, Тесеем, Персеем... Тебе, если именно здесь нравится, я могу к тебе переехать. Я же понимаю. Тут ведь Греции твоей ничего не мешает. А у меня мотоцикл есть, я на работу могу отсюда ездить. Ты только скажи, Катя. Это же просто чудо, что мы вот так вот снова встретились. Ну, может, не чудо, но удивительно. Ты же как тогда после школы пропала, я прямо сам не свой ходил... Потом, конечно, привык, думал, ну чего тосковать, это все, наверно, детское было... Я-то после узнал, что папа твой умер и ты решила здесь остаться, но все как-то не решался заехать... Да и повода не было... А теперь я все точно понял. Возьми ты у меня цветы эти наконец, чего я все держу-то их так...

Екатерина. Выслушай, странник, однако, мой сон и его растолкуй мне. Двадцать гусей у меня из воды выбирают пшеницу, вдруг прилетел ко мне с неба огромный орел кривокогтый, шеи он всем им свернул и

убил. И валялися кучей по двору гуси, орел же в эфир поднялся светосносный. Горько во сне я рыдала и голосом громким вопила.

Участковый. А не надо плакать, Катюш. Это не сон, а прекрасная явь, это все так и будет. Гуси — твои женихи, а я был орел, но теперь уже я не орел, а супруг твой! Домой наконец я вернулся. Ну, может, и не супруг пока что, но надеюсь...

Екатерина. О, не сердись на меня, Одиссей! Ты во всем и всегда ведь был разумнее всех, но на скорбь осудили нас боги. Не пожелали они, чтобы мы, оставаясь друг с другом, молодость прожили в счастье и вместе достигли заката.

Участковый. А вот это ты хорошо переключилась.

Екатерина. Не негодуй, не серчай, не сердись на меня, что не сразу я приласкалась к тебе, как только тебя увидела. Дух мой в груди у меня постоянным охвачен был страхом, как бы не ввел в заблуждение меня кто-нибудь из пришельцев...

Участковый. Проблемы одни от пришельцев этих... Но я же не такой, ты знаешь. Я местный.

Екатерина. Хотя и напугано сердце мое, но его убедил ты!

Они обнимаются. Раздается короткий сигнал мобильного. Участковый достает из кармана телефон, смотрит на экран.

Участковый. Это Валентин Петрович. Представляешь, пишет, что у нас тут в поезд молния ударила.

Екатерина. Молния?

Участковый. Да. Одного человека убило.

Екатерина. Кого?

Участковый. Неизвестно. Он без документов был. И без билета.

Екатерина. Как беспощаден и как справедлив порою бывает Зевес громовержец...

Участковый. Не доехал до Пенелопы...

Екатерина резко отстраняется от него, смотрит удивленно и с негодованием.

Участковый. Ой. Прости. Забыл. Конечно... Это же ты теперь Пенелопа. И я к тебе возвратился.

Они снова сливаются в объятиях.

Екатерина. Настоящий Одиссей всегда возвращается.

Участковый. Помню.

Ксения Степанывчева

Попутчик

Поезд «Москва — Астрахань». Стук колес. Плацкартный вагон. Нижняя боковая полка сложена и представляет собой столик с двумя сиденьями. На столике стоят два стакана с недопитым чаем в классических железнодорожных подстаканниках. За столиком сидит Рахим — таджик лет сорока, в аккуратном свитере, джинсах, бейсболке. Сбоку от него в ряд подвешено несколько синих паспортов.

Рахим (*с акцентом*). ...Сами понимаете, какой работа в Москве — строим в Москве. Я институт закончил, агроном был. Но совсем мало платить стали. А как я могу — у меня семья, жена, детей трое, родители. Как я могу их на такой зарплата кормить? А у нас в Таджикистан совсем работа нет — совсем мало платят. Теперь уже пятый год в Москву езжу работать. Совсем ничего не знал — ни один кирпич не клал, ни одна плитка. Ничего, научился, теперь все могу...

Стук колес усиливается. Затихает.

В Германия хорошо, я тоже в Германия был, один раз. В санаторий лечился, ещё когда Советский Союз был. Я в Афганистане служил, в разведроте. Тогда в армия все шли, не как сейчас — тогда стыдно было в армия не идти. Если ты в армия не служил, с тобой ни один девушка гулять не будет. Значит, ты больной, или такое что-то... И родителям стыд, и сам на улица не выйдешь — все знают, что тебя в армия не брали. А мне военкомат отсрочка давал — веса мало было, сорок четыре килограмма только. А я хотя мелкий, но сильный был — вольный борьба занимался, кандидат был. Немного веса набрал, прихожу, говорю: «Берите меня, хоть куда берите, поеду, хоть в Афганистан поеду». Посмотрели — видят, сильный. Взяли. Сначала подготовили нас, обучили, потом в Кандагар отправили. Я в Кандагаре служил. У нас в разведроте все большой был — я один мелкий. И один таджик.

Рукопашный бой — уметь надо, я умел. Потому что я вольный борьба знал и сильный был. У нас, когда боевой выход там, на тебе бронези-лет, автомат, каска, а я еще и рация нес — тридцать килограммов веса на тебе. И бегом, и по-пластунски. Надо быть сильный, если слабый — совсем не сможешь. И других парней положат из-за тебя...

Стук колес усиливается. Затихает.

Да, смотрел «Девятая рота», смотрел — да, очень правдоподобно, очень. Только душманы во весь рост не ходят на атаку. Если так пойдёшь, пуля получишь. А так все правдоподобно, да... Особенно когда «вертушка» опаздывает — это очень правдоподобно, очень. Окружили тебя со всех сторон, выйти не можешь, передаешь по рация: «Выйти не можем, высылайте вертушка». Отвечают: «Высылаем, ждите». Пол-часа, час прошёл, опять на связь вышел: «Где вертушка?!» — «Ждите, высылаем, придет вертушка». Много из-за этого парней полегло... Я так на плен попал. Три месяца там был. Нас троих в плен брали. Они хотели нас за деньги выкупать — а наши сказали: «Нет, мы их не будем за деньги выкупать». Тогда они нас увезли и на работу поставили. Мы их работа делали, только в наручниках. В пещере жили. Потом уже бежать решили. Одного застрелили, а мы двое убежали. Пятнадцать дней шли — прямо в часть свою пришли. А уже сил не было — на гору подняться надо, а мы не дошли, свалились. Наш прапорщик нас нашёл. А я глаза открываю — в пещере лежу. Думаю, опять на плен попали. А тут слышу, по-русски говорят. Значит, дошли, думаю. Толкаю Вадима: «Вадим, пришли!» А он глаза открывает, спрашивает: «Опять на плен попали?» А я говорю: «Нет, по-русски говорят, к своим пришли!» А потом нас за это судили. Полтора года хотели давать — за плен. В дисциплинарный камера посадили. Но там с нами хорошо обращались — наши ребята с ними поговорили, нас никто не трогал. Судили, да. Говорят: «Почему на связь не выходил?» А как я могу на связь выходить? Нам приказ был — уничтожить рация. Если бы наш канал им в руки попал — много бы плохого было. Я рация взорвал, как меня учили. А как я без рация на связь выйду? Они говорят: «Вы Советский Союз продали», — а мы не продавали, это они нас продали, они нам «вертушка» не прислали!.. Хорошо, подполковник наш, Гавриленко, на суд выступил, защитил нас. Он с нами боевой выход ходил, он нас знает, какие мы. В камеру к нам приходил, обнял нас, со слезами говорит: «Ребята, я думал, вы погибли». Оправдали, да. Полтора года хотели давать... А парней много полегло, да. То «вертушка» нет, то оружия нет.

Колонна дембелей шла — оружие только у охраны было, у дембелей же нет уже оружия. Не прошла колонна. Всех положили. Мы потом приходим — не успели, совсем. Сами попали. Только спустились вниз — а они нас ждали. А там спрятаться негде. Меня там и подстрелили. Глаза открываю — Вадим. «Ты живой?» — спрашивает. А я говорю: «Вадим, вернешься в Союз, передавай моим отец и мать, что их сын героически погиб». А он: «Ты дурак совсем? Я тебя дотащу, если живой». А я говорю: «Сам иди, а то оба вместе погибнем». А он: «Нет, я тебя на спине понесу, а ты автомат держи, стрелять будешь». А я слабый совсем, стрелять не могу, автомат уронил. Двести метров он меня на спине нёс. Потом не помню. А очнулся я уже в госпитале, в Союзе. Глаза открываю — медсестра стоит. Я её спрашивать: «Где я?» А она: «А тебе не все равно? Молчи, тебе разговаривать нельзя, тебе операция сделали. В Союзе ты». Мы с Вадимом каждый год встречаемся, он в Москве живет, тоже строит, работаем вместе иногда. Я его спрашиваю: «Зачем ты меня нес, почему не бросил?» А он говорит: «Да я тобой прикрывался, чтобы мне в спину не попали». *(Смеется.)* Это мы шутим так, шутка у нас такая... Бронежилет, он же спереди и сзади закрывает, а мне четыре пули в бок попало. А потом из госпиталя нас в санаторий в Германию отправили, лечили там. А после армия меня как «афганца» в институт взяли, на агронома. С красный диплом окончил, все удивлялись. Работал, да — мы хлопок выращивали, собирали. А потом плохо стало. А потом совсем плохо — война... Когда у нас, в Таджикистан, война начался, меня звали — командиром хотели делать. Я сказал — нет, не пойду. Я знаю, что такой гражданская война — они не знают, я знаю. Ты стоишь с человеком, один сигарета куришь, потом отошёл, а он на тебя в прицел, и пристрелит. Хуже война нет. Все равно — убийцы. Мы, когда из плена бежали, десятых положили. Тяжело с таким жить. Когда знаешь...

По вагону идут два молодых мента, у одного в руках — несколько синих паспортов.

Мент 1. Документы!.. *(Срывает паспорт, идет к следующему.)*

Мент 2. Паспорт твой!.. *(Срывает паспорт, идет к следующему.)*

Мент 1. Паспорт давай!.. *(Срывает паспорт, идет к следующему.)*

Менты проходят мимо Рахима, не забрав у него паспорт. Рахим надвигает бейсболку пониже.

Мент 1. Паспорт!.. *(Срывает паспорт, идет к следующему.)*

Мент 2. Документы твои!.. *(Срывает паспорт, идет к следующему.)*

Мент 1. Паспорт давай!.. *(Срывает паспорт, идет к следующему.)*

Менты уходят в другой вагон.

Рахим *(радостно)*. Ух, не заметили, слушай!.. Повезло. На один раз меньше деньги отдам, паспорт выкупать... Это из-за вас они меня не заметили. Они думают — не будет русский девушка с таджиком сидеть разговаривать, как мы с вами сидим разговариваем.

Стук колес усиливается. Затихает.

Я привык уже, такое отношение... Пять лет в Москву работать езжу, привык. Но все равно — тяжело. Обидно. Будто мы террористы какой-то... «Черный», «черный»... Я, может, на лицо черный, а душа у меня белая. *(Невесело усмехается.)* Может, скоро не буду ездить в Москву работать. Говорят, скоро у нас, в Таджикистан, землю раздавать будут, в частный собственность. Я очень жду — я же агроном, буду хлопок выращивать, на себя работать. Дома буду работать, в Москву не поеду. У меня и трактор есть — в прошлый год в Москве купил. Старый, но хороший. Домой привёз. Я его разобрал, кабина, колеса, что у нас найти можно, выкинул, остальное запаковал, с ребятами нашими, которые домой ехали, десять человек, договорился. Я им говорю: «Ребята, я вам билеты куплю, дорога оплачу, я за все отвечаю — вот вам каждому, запаковано, довезите». Так и привез, целый трактор — в плацкартный вагон!.. Никто ничего не заметил, даже проводник. Я уже когда выходить, я коленвал нёс, завернутый, а он на пулемет похож. Я выходить, а проводник: «Это что у тебя?» А я: «Тсс, это гранатомёт». Он испугался!.. Я говорю: «Да не бойся, это коленвал от трактора, я у тебя целый трактор провез, а ты и не заметил!» *(Смеётся.)* Я и трактор водить могу, и машину, все могу — разобрать, собрать, меня в армия обучили. Даже самолёт водить могу!.. Только самолёта у меня нет. А трактор есть... *(Улыбается.)* А сейчас — вон, сыну велосипед везу. Сыну пять лет, просит: «Привези, привези». Обещал — надо привезти. Я с детьми так, я если обещал — делаю, а если не могу, сразу говорю — нет, не могу.

Стук колес усиливается. Затихает.

Знаете, анекдот такой есть. Пошёл президент России, Казахстан, Таджикистан к ангелу. Президент России ангела спрашивает: «Когда

русские хорошо жить будут?» Ангел отвечает: «Через тридцать лет». Заплакал президент России. Тогда президент Казахстана ангела спрашивает: «Когда казахи хорошо жить будут?» Ангел отвечает: «Через сто лет». Заплакал президент Казахстана. Тогда наш президент Таджикистан ангела спрашивает: «А когда таджики хорошо жить будут?» Заплакал ангел...

Стук колес усиливается.

Ирина Чечина

Горячая точка

Действующие лица:

Он. Молодой перспективный хирург. Красив, амбициозен и уверен в себе. Приехал из крупного города.

Старожил. Врач с 20-летним стажем.

Она. Просто очень влюбленная девушка из местных.

Скучно обставленная ординаторская в провинциальном госпитале. Лето. Смена подходит к концу. Он и старожил пьют чай.

Он. В реанимацию привозят раненого с ножом, торчащим между лопатками. Врач спрашивает: Больно? — Только когда смеюсь, доктор! *(Оба смеются.)*

Старожил. Слушай, забавное название у этого места. В переводе «дебри» означает. Станный мне сегодня сон приснился. Дед. Он в сорок третьем погиб, как раз в этих местах. Я его только на фотокарточке с фронта видел, такой молодой, улыбающийся. Он мне ни разу не снился. Но сегодня во сне я его почему-то сразу узнал. Только он не улыбался, лишь головой покачал. Как будто предупредить хотел.

Он *(пожимая плечами)*. Да о чем тут предупреждать? Вроде все нормально, не Чечня ведь. Мы же не горячая точка. Вот и фронтовые с нас сняли, теперь на зарплату не разгуляешься.

Старожил *(улыбаясь)*. Ну, такой бабник, как ты, всегда найдет способ разгуляться.

Он. Не преувеличивайте мои скромные донжуанские способности, коллега... Слушай, а этот парень с осколочными... Там прогноз какой?

Старожил. Плохой. Звонил в первое экстренное, готовят к ампутации.

Он. М-да... Знаешь, я бы лучше умер, чем так...

Старожил. Это потому что ты молодой... Чем больше живешь, тем больше хочется...

Он. Но так, калекой... Ни одна баба не посмотрит или посмотрит с жалостью.

Старожил. К нему невеста приехала. Я видел... Красивая...

Он. Лучше бы не приезжала. Когда сбежит, ему еще хреновей станет.

Старожил. Может, и не сбежит. Я с ней говорил. Все сказал, даже краски сгустил. А она меня про детородную функцию спрашивает. Представляешь?!

Он. А ты?

Старожил. Сказал как есть. Что ребенка сделать сможет. А потом этот ребенок будет его в инвалидной коляске катать до конца дней. А она не сдается. Молодец девчонка! Она мне, ортопеду-травматологу стала рассказывать, какие протезы бывают, что почти незаметно, ну и так далее.

Он. Да, есть женщины в русских селеньях.

Старожил. Как будто в нерусских их нет... *(Оба невесело улыбаются.)* Кстати, вон твоя зазноба.

Он. Слушай, скажи ей, что я уже закончил дежурство. Да и время уже без двадцати семь.

Старожил. Ну уж нет. Сам отдувайся. По глазам вижу, что-то натворил, котяра мартовский. А я пойду в реанимацию. *(Уходит.)*

Он *(вдогонку старожилу)*. Это называется темперамент.

Входит она.

Она. Я пришла... Ты трубку положил...

Он. Привет. У нас обход главврача был... Да и нетелефонный это разговор.

Она. Да, нетелефонный... Ты сердисься?

Он. Ну как тебе сказать... С кем не бывает.

Она. И что... *(Она выжидающе смотрит на него. Он молчит, пытается казаться равнодушным.)* Ты ведь не женишься?

Он. А ты как думаешь?

Она. Я не настаиваю.

Он. Ха! Еще бы ты настаивала. Я ведь не врал тебе и ничего не обещал. Так?

Она. Так. Ты не волнуйся. Я не скажу отцу, что это ты.

Он. Ты мне угрожаешь?

Она. Нет... Я тебя люблю... Хоть тебе это и не нужно.

Он. Послушай, детка. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Что я — бесчувственная скотина, бросаю тебя на съедение твоим родственничкам, живущим по допотопным законам... *(Она отворачивается от него, растерянно смотрит в сторону.)* Просто ребенок... это сейчас не ко времени. Через полгода контракт закончится и я уволюсь из армии. Хочу поехать в Йемен года на три, там хирургам много платят, тыщ до трех баксов. Заработаю на квартиру. Вернусь, устроюсь в какую-нибудь элитную клинику... А ты тем временем тоже выучишься на кого-нибудь. Тебе 18 лет. Учиться надо, а не о детях думать.

Она. А я хочу о детях думать. У нас все женщины в роду рано рожали.

Он *(с вызовом)*. А я не хочу. Ты пойми, мне еще в профессии, чтоб чего-то добиться, надо расти, без конца совершенствоваться. Иначе до конца дней аппендиксы в заштатной больничке вырезать. А я... Я хочу многого, понимаешь? У нас династия, черт возьми. Отец — первый в мире экономную резекцию желудка провел... Да кому я все это рассказываю?! Не хочу ребенка. Сейчас — не хочу... У нас отличный гинеколог. Женщина. Я могу договориться с ней, и ты ничего не почувствуешь. И никто не узнает.

Она *(смотрит на свой живот)*. Я не могу его убить.

Он *(раздражаясь)*. Ну вот, наслушалась глупостей. Там срок мизерный. Это даже не плод еще, а так, эмбрион. Понимаешь?

Она. Пускай. Но я уже люблю его...

Он *(выходя из себя)*. Не смей меня связывать по рукам и ногам. Я все равно уеду. Слышишь?!

Она *(тихо)*. Я умру.

Он *(разражается нервным смехом)*. Не умрешь! Выйдешь замуж и будешь счастлива!

Она. Ты меня не любишь?

Он *(нервно крутит в руках авторучку, ломает ее, отбрасывает в сторону)*. Ё...перный театр.... *(Постепенно берет себя в руки.)* Ты — милая, замечательная, чистая девочка, а я... Но что же делать?

Она *(с трудом сдерживая слезы)*. Он будет похож на тебя. И пусть он тоже будет врачом...

Он подходит к ней. Берет ее лицо в свои руки, вглядываясь в него. Достает платок. Хочет вытереть ей слезы и обнять ее. Она отталкивает его. Между ними происходит молчаливая борьба. В конце концов он сильно прижимает ее к себе.

Он. Успокойся... *(Гладит ее по голове. Неожиданно отстраняется.)* Ччерт, ты как наркотик. Когда прикасаюсь к тебе, теряю способность мыслить логически... Иди домой. У меня сутки тяжелые были. Я выплюсь, позвоню, и мы что-нибудь решим. *(Бормочет под нос.)* Будет врачом... Тогда уж обязательно хирургом. Полостным. Хотя нейро тоже можно *(улыбается)*.

Она *(с воодушевлением)*. Да, я пойду. Мне так хорошо. Так хорошо. Я никого не боюсь. Даже отца. И даже если ты уедешь, он останется. *(Гладит себя по животу.)* У меня никогда такого не было. Чтобы такое счастье... Я только боюсь, что кто-нибудь из нас умрет, потому что... Потому что так хорошо не бывает. В книжках об этом всегда пишут.

Он. Угу. И в сериалах. *(С нежностью.)* Девочка ты моя провинциальная. *(Смотрит в окно. Слышен визг тормозов, грохот подбегжающей машины, крик часового и автоматная очередь.)* Ччерт, куда он...

Взрыв. Темнота. Тишина. Медленно возникает тусклое освещение. Тихая музыка. Все трое в белых одеждах, обращены в зал.

Старожил. Моздок в переводе с кабардинского означает «дебри». 1 августа 2003 года, около семи часов вечера, начиненный взрывчаткой «КамАЗ» протаранил ворота моздокского госпиталя и взорвался у здания клиники. В результате теракта погибли 50 человек, 82 получили ранения...

Он. А я... я не успел ей сказать самого главного...

Александр Молчанов

Жертва

— Считается, что жить с гением трудно. Вот вы читали, например, воспоминания жены Ландау? Кора Ландау. Не читали? А кино видели? Помните, да, как она там с этим со своим... Такое ощущение, что он над ней специально издевался. Гончарова со своим тоже всю жизнь мучилась. Я уж про Софью Андреевну вообще не говорю. Она для него все, наизнанку выворачивалась, а он как ее опозорил в конце. Не мог уж потерпеть, немного и оставалось-то.

Нет, у нас с Вадимом была совсем другая история. Всегда было полное взаимопонимание во всем. Я его поддерживала, помогала ему, защищала его от всех нападок. Создавала тепличные условия. Была ему и жена, и мама, и любовница, и нянька, и агент, и все на свете. А то, что он мне ни одной книги не посвятил, так это в издательстве вычеркнули, в черновике было посвящение, я своими руками... в смысле, своими глазами видела.

Да обо мне-то чего говорить? Давайте лучше о нем поговорим. Вы бы ко мне не пришли, если бы я не была за ним замужем. Вам же про него на самом деле интересно узнать, а не про меня. Я как луна, свечу отраженным светом.

Я вам знаете что, я про себя только одно могу сказать. Он меня любил. И сейчас любит. Где-то там, далеко... Все равно он думает обо мне. Может быть, не все время, но иногда. Я это чувствую. Даже на расстоянии.

С гением жить легко.

Так и напишите. Можете прямо в заголовок вынести на первую страницу. С гением жить легко.

Что же вы не пишете?

Открывайте тетрадки, дети, и записывайте.

Что же вам рассказать-то? Может, у кого-то сразу вопросы есть? Нет пока вопросов? Ладно, вопросы тогда в конце. Я специально оставлю минут десять до звонка.

Давайте для начала я расскажу вам, как проходил обычный рабочий день Вадима Александровича. Просыпался он всегда рано, около семи утра. Варил себе кофе на кухне и одно яйцо. Очень любил вареный кофе, сам молот, сам варил, хотя в сортах не особо разбирался, покупал, что под руку попадет. Иногда стоит у плиты, задумается, у него кофе убежит, я потом плиту оттираю.

Потом он работал около часа. Писал всегда вон за тем столом, в наушниках. Слушал тяжелый рок: «Металлика», «Джудаст прист», «Айрон Мэйдэн». Говорил, это помогает ему найти нужный ритм текста.

Кстати, любопытно, первый роман он писал не на компьютере, а ручкой, в таких больших желтых тетрадях в клеточку, они у меня все сохранились, да, кстати, как и его первые стихи, которые он еще в Шиченге писал. Ой, нет, даже не просите, такая ерунда. Хотя местами, конечно, чувствуется рука.

Понимаю, что представляют научную ценность. Я же и не отказываюсь, я их после смерти завещаю государству. Все рукописи будут храниться в доме-музее, пусть специалисты с ними работают, изучают. Как развивался его внутренний мир и система образов, кто на него повлиял и все такое.

Второй роман он уже на компьютере писал. Удобнее и быстрее. Писал каждое утро по три страницы. Есть у него вдохновение, нету вдохновения, хочется ему работать, не хочется ему работать, праздник ли, выходной ли, отпуск ли – три страницы вынь да положи. Даже когда болел, лежал с температурой – поднимался, писал свои три страницы, а потом падал обратно.

Даже не знаю, ответственность это или одержимость. Наверное, и то и другое.

Отписавшись, Вадим Александрович шел на работу. Его общественный темперамент не позволял ему закрыться от мира в своем каби-

нете. Многие годы он работал в газете, писал на самые различные темы. Это и политика, и культура, и даже спорт.

Но больше всего его интересовал человек. Даже если он писал заметку об экономике или, не знаю, о выставке фотографий, он старался раскрыть тему через человека, дать слово человеку.

Как и Толстой, и Достоевский, он интересовался криминальной хроникой. Писал он всегда очень конкретно, точно, всегда перепроверял факты и искал неожиданный поворот.

Не всем это нравилось.

Однажды Вадим делал репортаж о суде над дезертиром. Парень служил в Германии и из-за побоев командира сбежал из части. Прятался четыре года, потом вернулся домой; думал, про него забыли, а тут его сразу под белы ручки. По словам Вадима, процесс превратился в настоящий фарс. Вызывают свидетеля, какого-то прапорщика, который говорит, что в части солдат не то что не бьют, даже не ругают. А подсудимый встает и говорит, что своими глазами видел, как этот прапорщик таскал от командира ящиками консервы на продажу. Кому из них верить?

Парню дали четыре года — по году тюрьмы за каждый год свободы. А судья потом Вадиму сказал потихоньку: мол, был вариант парня отправить не в тюрьму, а на дизель — в дисциплинарный батальон, и не на четыре года, а на год, на полтора. Но судью, оказывается, больше всего разозлила серьга в ухе у дезертира. Как это так — парень, и с серьгой. В общем, по сути он четыре года получил не за побег, а за серьгу в ухе. Вадим так все и описал, как было, — и про прапорщика с консервами, и про серьгу. Судья потом звонил главному редактору, ругался.

Вадим всегда очень ответственно подходил к газетной работе, впрочем, как и к любому делу, за которое он брался.

Он считал, что самое больше преступление для журналиста — это сорвать дедлайн. Он говорил, что журналист может ошибиться, от этого никто не застрахован. Он может даже соврать, если от этого зависит безопасность героев его статьи. Да, именно так, может даже соврать, я это подчеркиваю. Но не сдать материал вовремя он не может. У газеты есть график выпуска, и если журналист не сдал текст вовремя — он тем самым подвел своих товарищей. Вадим считал это недопустимым.

Еще он считал невозможным для себя подлизываться к начальству. Из-за этого он никак не мог продвинуться по карьерной лестнице. По своим способностям и опыту он давно должен был бы стать главным редактором или хотя бы замом. Но его все время обходили гораздо менее способные люди. Тот же Петя Налиухин. Пустое место, только щеки умеет надувать. Начинали они в газете работать, кстати, одновременно с Вадимом, в тысяча девятьсот девяносто пятом году. А в девяносто восьмом, когда Рахманов перешел в пресс-службу губернатора, освободилось место зама. Вадим был уверен, что редактор предложит это место ему. Естественно, сказать это напрямую он стеснялся, ждал, что главный сделает первый шаг. Но я-то знала, что он этого хотел, он только об этом и мог думать в то время. А назначили Налиухина. Представляете, каково было Вадиму работать под началом этой бездарности?

Он решился на откровенный разговор с главным. Почему, объясните ваше решение? И тот ему сказал: «Ты хороший журналист, но я не знаю, какой из тебя получится редактор, вдруг плохой? Налиухин журналист плохой, но я не знаю, какой из него получится редактор. Вдруг хороший?» Для Вадима этой был большой удар.

Как-то удача все время мимо него проходила. Даже в газетной работе — он находил какую-то горячую тему, раскапывал ее — а потом другие журналисты у него эту тему перехватывали и дальше на ней ехали. Несколько раз такое было.

Тогда Вадим нашел этого мужичка, бывшего из группы «Песняры». Он пьяненький пришел в редакцию, хотел денег на автобус занять, все от него шарахались, а Вадим два часа с ним поговорил, написал заметку, ее поставили где-то там на последних страницах. Заметку Вадика прочитала собкорша «Комсомолки», съездила к этому «песняру» домой и сделала о нем статью на разворот, вся страна обсуждала. Что, неужели Вадик не мог бы написать эту статью?

А когда он нашел мать-героиню, которая в знак протеста отказалась от российского гражданства? Та же самая история, Вадик написал заметку, а редактор потом отдал тему Налиухину — дескать, тема статусная, пусть ее зам ведет. И Налиухин ехал потом на этой теме месяца три, такой сериал получился, представитель президента комментарии давал. Естественно, первую заметку Вадика никто не вспомнил и даже спасибо ему не сказал.

Вообще, я часто об этом думала. Бывают же люди, которые умеют себя подать. Я не говорю про актеров или телеведущих. В каждой профессии есть хотя бы одна знаменитость. Вот Сережа Зверев, например, — знаменитый парикмахер. Или доктор Курпатов. Никто никогда не видел людей, которые стриглись у Зверева или лечились у Курпатова, но самих их все знают.

У писателей тоже такое много раз было, когда человек получал свою славу незаслуженно. Бенедиктов, например. Или Надсон. Апухтин. Считались великими поэтами. А, например, Тютчева много лет никто не замечал, хотя он уже написал и «Люблю грозу в начале мая», и «Молчи, скрывайся и тай». А в конце жизни признали.

Вадим тоже долго шел к признанию. Я ему как-то сказала — время расставит все по своим местам, слава может прийти и через триста лет. А он мне говорит так серьезно: в триста лет не стойт.

Ой, дети, нет, это не записывайте!

Каждый день Вадим занимался спортом. Считал, что спорт обязателен для людей интеллектуального труда. Много разных видов перепробовал. И бегал по утрам, и на тренажеры ходил в спортзал. И теннисом занимался, и цигун, и тайцзи, и кун-фу. В конце концов сам составил для себя комплекс — приседания, гантели, бег на месте, упражнения на пресс и отжимания. Каждое упражнение по три подхода по сто раз.

Он объяснял это так: йога, цигун — это все для теплого климата, а нам, северянам, надо греться, поэтому нам лучше всего подходит поднятие тяжестей.

Следил за фигурой. Старался не есть на ночь.

Очень переживал, когда начал лысеть. Правда это было почти незаметно, но он все порывался постричься налысо, считал, что это будет более честно, чем скрывать залысины, я его все время отговаривала.

Какие-то вещи ему легко давались. Например, он очень легко заводил врагов и друзей. Он, не знаю, как сказать, легко входил в ситуацию, но потом увязал и останавливался.

Когда он написал первый роман и поехал в издательство подписывать договор, там удивились — как, вам всего двадцать четыре года, у нас еще не было таких молодых авторов. Второй роман у него тоже взяли сходу. А на третий прислали кучу поправок. Вадим не стал их вносить, а вместо этого написал четвертый, совсем в другом жанре. Такое древнерусское фэнтези по мотивам былины про Добрыню Никитича и его смерть. В издательстве даже читать не стали, сказали, мы не работаем с таким жанром, он не пользуется спросом. Лучше напишите детектив. И Вадик написал детектив, очень хороший, про наркоторговцев. А они его опять не взяли.

Я думаю, он просто перерос уровень этого издательства.

Тогда Вадим стал писать юмористические рассказы. Публиковал в интернете. Читали люди, комментировали. А что, Чехов тоже писал юмористические рассказы. Главное же не что ты пишешь, а как.

Вообще, знаете, я не люблю вот этот термин — человек эпохи Возрождения. Мне все кажется, так говорят про человека, который за все хватается и ничего не может довести до конца. Вадим, конечно, тоже искал себя. Особенно после этой неудачи с издательством.

Музыку сочинял на компьютере. Песни записывал — такое что-то вроде рэпа. Любопытно, да, получалось.

Потом рисовал, тоже на компьютере. У него серия картин была — «Патриотизм». Белые, синие и красные полоски, как будто российский флаг, только они так криво друг на друга накладываются, создавая впечатление такой неправильности, такой какой-то неразберихи, символически так...

Мне кажется, я все время рассказываю что-то не то. Не главное. Не то, что ты на самом деле должен про него знать. Я все время пытаюсь донести это до тебя, вдолбить в твою голову, чтобы ты услышал, чтобы знал...

Главное — не факты биографии, не события жизни и даже не поступки. Главное — цели, которые ты ставишь перед собой.

Цели у твоего папы всегда были грандиозные.

При каких-то других обстоятельствах он мог бы стать диктатором. Он мог бы объявлять войны, поворачивать реки. Конечно, он мог бы

убивать. Одного человека или миллион человек, все равно, — он мог бы это сделать, если бы это было нужно. В нем была отрешенность настоящего героя.

То, чего у тебя нет, к сожалению. Я смотрю в твои глаза, ты так похож на него, но все же ты — это не он, и не можешь быть он, и будь ты проклят за то, что ты — это не он.

Я должна найти более безопасную тему.

Я не хочу ему навредить.

Я буду говорить только правду, но я не хочу ему навредить.

Я могла бы его уничтожить, но я не хочу этого.

Я должна быть выше этого.

Я должна забыть свои интересы ради общего блага.

Я в полном порядке, я могу продолжать.

Я расскажу вам о том, как мы познакомились. Это было в институте. Было первое занятие. Английский язык. Он вошел, коротко постриженный, в тельняшке, такой непохожий на всех нас, девочек из приличных семей. И когда он сел на заднюю парту, в его сумке явственно звякнули бутылки.

Я не преувеличиваю, все было именно так.

Это был наш общий кошмар — представитель народа, то, что называется словом «tujiik», находилось прямо среди нас.

Мы старались не оглядываться назад, туда, откуда пахло табаком и потом.

Потом вошла преподавательница и сказала: «I congratulate you about start your study in our institute».

Стало тихо.

Она удивилась и спросила — неужели никто не знает слово «Congratulation»? Кто-то из девок предположил: «Объяснение?»

Нет, это было не объяснение.

И тогда с задней парты раздался его голос: «Поздравление». Учительница расцвела.

Это было единственное английское слово, которое Вадим случайно знал из песни группы «Роллинг Стоунз».

Весь первый курс я поглядывала в его сторону. В институте он появлялся редко, попахивая перегаром и пытаясь отвлечь преподавательницу античной литературы спором о Сартре от того очевидного факта, что он не прочел ни одной пьесы Эсхила. А на перемене аргументированно доказывал, почему «Список Шиндлера» — профанация, а «Терминатор-2» — великое кино.

О нем рассказывали всякие страсти, как его пытались убить, как он сам пытался покончить с собой — в общем, он был *интересен*.

А в конце второго курса у него на пальце появилось обручальное кольцо и он между делом сказал, что женился, что она страшна как смерть, богата как Ротшильд и он влюблен в ее деньги.

На следующий день выяснилось, что он просто взял кольцо у кого-то поносить. Но было уже поздно, я уже погибла.

Я влюбилась в него без памяти.

Теоретически я знала, что мужчин надо ловить в сети, но мои сети никуда не годились, он все время ускользал.

После какой-то дискуссии на паре я подошла к нему, предварительно до блеска отполировав в уме наш будущий диалог.

Набрала побольше воздуха в легкие и начала: «Кстати, я с тобой не разговариваю». Он пожал плечами, буркнул что-то типа «бывает» и ушел в мужской туалет, из которого вываливались в коридор клубы табачного дыма.

Даже не спросил, почему именно я с ним не разговариваю. Весь мой придуманный диалог не пригодился.

Я ждала.

Это было непросто, но я научилась ждать. Тем более, у меня не было другого выхода. Или он будет мой, или мир погибнет — решила я.

Как вам известно, мир, хотя и находился по моей вине на грани гибели, все-таки не погиб. В конце второго курса у Вадима обнаружилась задолженность в виде двух экзаменов и одного зачета и его стали отчислять из института. Я пошла к декану и попросила дать Вадиму еще один шанс. Декан — Елизавета Алексеевна — умная женщина, она прекрасно понимала потенциал Вадима, но со мной она говорила совсем о другом. Она спросила: ты что, выходишь за него замуж? Да, — соврала я и в этот же момент поняла, что да, я выхожу за него замуж.

Вадим ждал меня у деканата. Я пересказала ему наш разговор с Елизаветой, он вздохнул и сказал, что как честный человек он теперь действительно должен на мне жениться.

И мы поцеловались.

Много лет спустя он объяснил мне, что для него это было сознательным решением. Вадима переполняли силы, с которыми он пока не умел обращаться. Он понимал, что может уничтожить себя, и женитьба казалась ему единственным способом спасения. Я должна была защитить его от него самого.

Мы поженились через полгода. Свадьба была скромная. Кроме родителей, была одна моя подруга и двое его друзей.

Посидели за столом час или два, а потом пошли вместе с ним пешком в общежитие. Это был деревянный дом. Окна нашей комнаты выходили на пятиэтажку, которая закрывала все небо. На стеклах был многолетний слой пыли. Я взяла тряпку и начала их отмывать, а Вадим сел на кровать и написал рассказ о том, как мы поселились в общежитии, как я вымыла окно и вместе с пылью смыла пятиэтажку, которая закрывала вид на речку и небо. Рассказ заканчивался тем, что мы сидели и смотрели в окно, шурясь на солнце. На самом деле за три года мы ни разу не видели солнце из нашего окна. Пятиэтажка стояла крепко, не смывалась.

Это были годы ужасной нищеты. Мы жили на стипендию. Буквально умирали с голода. Я варила суп из хлебных крошек и бульонного кубика.

Иногда ходили к моим родителям, они нас подкармливали. Но они тоже бюджетники, им тоже все время задерживали. Страшное время было. Мама однажды купила рыбный паштет, угощала нас бутербродами. А на следующий день папа вроде как в шутку сказал, что мы с Ва-

димом сожрала весь паштет. Вадим молча встал и вышел. Я побежала за ним. Мы вернулись в общагу. Это не обсуждалось, но я поняла, что больше никогда не увижу своих родителей.

Через три дня родители пришли извиняться и Вадим их простил.

Потом летом мы поехали к нему на родину, в Шиченгу, и все лето собирали там ягоды — сначала землянику, потом малину. Наварили двадцать банок варенья. Зимой это варенье нас спасло. Мы покупали только хлеб и ели бутерброды с вареньем.

Вадим мог найти работу, но он хотел писать. Он не хотел отвлекаться ни на что. А я его в этом поддерживала. Но к пятому курсу стало совсем плохо. Цены росли, а стипендию нам не прибавляли. Нам не хватало даже на хлеб.

Мы с Вадимом пошли все-таки устраиваться в газету. Мы хотели писать о культуре.

Ходили на концерты, на спектакли, на фильмы. И странное дело — то, что писала я, брали и печатали, а то, что писал Вадим, не брали. Я никак не могла понять — ведь он же пишет с десяти лет, он всегда хотел писать, он прочитал столько книг. Почему у него не получается?

Через пару месяцев зам. редактора Рахманов предложил мне пойти в штат. А Вадиму он сказал, что в нем он не заинтересован. Я испугалась. И отказалась, естественно, сказала, что в нашей семье пишет Вадим. Рахманов пожал плечами и повторил, что он в нем не заинтересован.

Вадим выдержал и это. Он стиснул зубы и продолжал писать. В конце концов Рахманов взял у него небольшую заметку в четыре предложения, о посвящении в студенты. Потом еще одну. И еще. А дальше пошло. Через полгода его взяли в штат, а потом он вообще стал правой рукой Рахманова.

Только не подумайте, что это была какая-то унылая жизнь в духе Достоевского. Мы жили весело. Гуляли, читали. Вадим никогда не умел долго унывать, махал рукой и говорил — а...

Он просто легкий человек. Я смотрела его гороскоп, у него асцендент в близнецах, преобладает стихия воздуха. У него вообще воздуха семьдесят процентов, а остальных стихий по десять процентов. Поэтому он не может долго о чем-то переживать, отряхивается и идет дальше.

А у меня сорок процентов земли, тридцать процентов воды, двадцать процентов огня и только десять процентов воздуха. Я его как бы дополняю, уравниваю.

А ты водолей, и асцендент в раке, у тебя с ним полная несовместимость. Я вообще не представляю, как он может рядом с тобой находиться. Ты его подавляешь, угнетаешь. Он наверняка это чувствует, и рано или поздно...

У нас были проблемы, но мне казалось, что в последнее время у нас все наладилось. Он много работал, по вечерам играл в компьютерные игры. Иногда выпивал с друзьями, но немного, не как тогда.

Секса у нас почти не было, но это нормально после семи лет брака. Наступает охлаждение. Вместо страсти — взаимное уважение. Вместо любви — дружба.

По выходным ходили гулять. Ты не помнишь, тебе три года было. Или помнишь? Он сажал тебя на плечи, и мы шли сначала в книжный магазин, потом на берег реки, кормить уток, а потом на вокзал, смотреть на поезда. Если бы я знала тогда, что каждый раз, глядя на поезда, он думал о том, что когда-нибудь один из этих поездов увезет его от нас с тобой.

Я до последнего не знала. Это мне потом рассказали. Все друзья, оказывается, были в курсе.

Он два раза от нас уходил. Я не могла понять почему, за что?

Говорил — надо побыть одному. Снимал квартиру, забирал несколько книг. Раз в неделю появлялся, чтобы увидеться с сыном и взять еще книг. Ничего не объяснял, а я ничего не могла понять. Он злился на меня за что-то, но ничего не объяснял.

Потом я узнала, что у него в это время были женщины — по две, по три одновременно. Он как с цепи срывался. Потом снова приходил ко мне. Занимал денег. Я давала, все-таки не чужие люди. И он снова уходил.

А где-то через месяц он возвращался. Говорил — из-за ребенка. Что скучает по нему сильно. А потом опять что-то у него накапливалось, и он опять уходил.

Я у него спросила тогда – чем они лучше меня? У меня же ноги идеальные, и грудь, и лицо. А он сказал, что он может быть с кем угодно, кроме меня. Сказал, что есть три миллиарда женщин и он готов быть с любой из них, кроме меня.

Все выбирал, с кем от меня уйти. Выбрал наконец.

Интересно, она ему готовит, стирает? Он же за семь лет ни разу носки себе не постирал. К хорошему быстро привыкаешь.

Они уехали в Воронеж. Он работает в газете «Товары для офиса», в рекламном отделе. Постригся коротко, ему так не идет, все залысины видны, я видела фотку на «Одноклассниках». Видно, что постарел. Тридцать семь лет.

Не представляю, как он может жить в Воронеже, там люди злые.

Даже не знаю, пишет он там что-нибудь или нет. Пишет, наверное, что-нибудь в стол.

Мне кажется, он там остановился в своем развитии. От женщины многое зависит.

А я теперь ради сына живу. Он способный парень, хотя и не гений. Не всем же быть гениями. Пусть просто добьется чего-нибудь в жизни. Не обязательно даже в творчестве. Может быть, в бизнесе или еще в чем-нибудь. Только не в творчестве. Творчество не приносит людям никакой радости. Это просто болезнь. Это демон, который пожирает тебя изнутри.

Это не моя мысль, это Вадим часто повторял. А однажды он вдруг улыбнулся и сказал, что его демон совсем нестрашный, типа котенка, и он его не пожирает изнутри, а лишь слегка покусывает.

И все равно это несправедливо. Если ты видишь это, ты должен понимать, что так не должно быть.

Я отдала ему все и не получила взамен ничего.

У меня нет ничего. Ни квартиры своей, ни работы нормальной. Только сын, которого я родила, чтобы Вадима в армию не забрали. Да, а что, вы не знали? Все, после института его должны были уже забрать, а кто с детьми, давали отсрочку на три года, вот я и предложила...

Да что теперь говорить.

Я все думаю, думаю, почему у нас не получилось? Может быть, и правда, я была его недостойна? Но я же старалась изо всех сил. Я правда старалась.

Я пыталась ему написать, позвонить, как-то объяснить. Он на письма не отвечает, трубку бросает. Не хочет со мной говорить. Не понимаю почему. Почему он так на меня злится? А может быть, он не на меня, а на себя злится.

Мне кажется, если бы мы с ним встретились, нам было бы о чем поговорить. Сели бы где-нибудь в кафе и поболтали бы. Повспоминали бы. Как в общежитии жили, как землянику собирали, как уточек кормили. Нам ведь есть что вспомнить.

Почему он даже поговорить со мной не хочет? Не понимаю...

Максим Курочкин

Выключатель

фоновая драма

Родители отдыхали в Болгарии, мы жили с дедом душа в душу и готовили не по расписанию, а только тогда, когда нам хотелось. У меня не было девушки, я не работал, не учился, по инерции ел много масла. Читал «Основы Археологии» профессора Авдусина, переписывал на бело стихи из самодельной записной книжки. Это был лучший июнь в моей жизни.

Дед. Где Вера?

Внук. Таня.

Дед. Где Вера?

Внук. Ты спрашиваешь про Таню. Таня уехала в отпуск. Таня твоя дочка.

Дед. А где Вера?

Внук. Бабушка умерла давно.

Дед. А Таня?

Внук. Таня уехала.

Дед. Таня уехала?

Внук. Таня уехала.

Так мы и общались. Два года караульной службы сильно укрепили мою нервную систему. Заметил, что разговариваю с дедом совершенно спокойно, не так, как раньше. Я тупой и добрый. Дед приходил в мою комнату каждые двадцать минут.

Дед. Когда Вера приедет?

Внук. Таня приедет после двадцать четвертого.

Дед. А Вера?

Внук. Вера не приедет.

Дед. Дай лекарство.

Внук. Нет. Перед сном.

Ухаживать за стариком-наркоманом совсем не трудно. Главное — поставить психологический блок. И следить за тем, чтобы чайник не был плотно закрыт крышкой.

Внук. Я в магазин. Если нужен будет кипяток, возьмешь в термосе.

Дед. Позови Веру.

Внук. Не беси меня, пожалуйста.

Дед. Таню.

Внук. Таня в отпуске.

Дед. Скажи Вере, пусть купит мороженого.

Внук. Хорошо. Только не включай газ.

Как вы поняли, мой дедушка маразматик. Мы очень боимся, что он однажды отравит нас или устроит пожар.

Внук. Я вернулся. Вставай — будем мороженое кушать.

Дед. Перезвони Оле.

Внук. Оле?

С Олей я познакомился год назад, во время отпуска. Она не оставила номер телефона, но взяла мой и обещала позвонить после того, как я вернусь. Я уже не надеялся, что она выполнит обещание.

Внук. У меня нет ее телефона.

Дед. Она продиктовала, я записал.

Внук. Де, с меня две таблетки вне очереди.

Дед. Что?

Внук. Два лекарства с меня.

Дед. Неси.

Но получить нимбутал сверх нормы ему не удалось. Записку с номером он потерял. Я обыскал всю комнату. За кроватью деда я нашел свой аттестат об окончании средней школы, мамины бусы и топорик. Но записки с телефоном там тоже не было.

Дед. Ты обещал лекарство.

Внук. Ты обещал телефон.

Дед. Я записал.

Внук. И где он?

Дед. Непонятно.

Я уже не мог о ней не думать, об Оле. Теперь я думал о ней даже больше, чем обо всех знакомых девушках вместе взятых. Наш разговор годичной давности с каждой минутой казался мне все более остро-

умным. Не прошло и получаса, как я был влюблен окончательно, на всю жизнь. Оля — единственный человек, который меня понимает. К тому же красавица. Мне очень нужно найти ее номер.

Внук. Дедушка, как ты мог потерять телефон?

Как я зол. Он свел в могилу бабушку, он не был на фронте, он всю жизнь был эгоистом, думал только о себе и своих бесчисленных друзьях, жил не по средствам, отказался от дачи и не выкупил служебную «Победу», когда все выкупали. В детстве я ничего хорошего от него не видел, кроме пистонного ружья и велосипеда «Минск». Даже корабль, который он мне сделал из мелкопористого пенопласта, унесло течением. По словам мамы, уважать его можно только за то, что он не был доносчиком. На пенсию его проводили в пятьдесят лет. С тех пор как я пошел в школу, дедушка официально находится в марше. Его терпят, его кормят, за ним убирают. Неужели нельзя было нормально номер записать?

Внук. Ты куда собрался?

Де д. Гулять.

Внук. В пижаме я тебя никуда не пущу.

Дед переоделся и ушел. Мы стараемся его уже не выпускать. Год назад он разбил себе нос прямо у подъезда. Но сегодня я на него зол. Пусть разбивает себе что угодно, лишь бы не сломал шейку бедра. Шейка бедра — это серьезно. Это просто какой-то выключатель стариков. А я сторонник того, чтобы старики самостоятельно ходили в туалет до самой смерти. Дед вернулся домой через два часа.

Внук. Где был?

Де д. В парке. Встретил Лукьянца.

Внук. Как он?

Де д. Плохо. У него пуделя панки зарезали.

Как ни странно, в словах деда была доля правды. Овчарку нашего соседа Лукьянца в прошлом году сбил байкер. И до овчарки у соседа действительно был пудель.

Де д. Я вспомнил первые три цифры.

Внук. Какие цифры?

Де д. Двести двадцать четыре.

Внук. Что двести двадцать четыре?

Де д. Первые цифры.

Невероятно. Это были первые цифры телефона Оли. По крайней мере, теперь понятно, что она живет в центре.

Внук. А дальше?

Дед. Дальше не помню... Шесть, кажется.

Внук. Шесть?

Дед. Или семь.

Внук. Дедушка, мне очень надо, чтобы ты вспомнил. Это очень важный телефон. Очень важный. Оля – мой друг. Если ты вспомнишь ее телефон, я на ней женюсь.

Дед. А мы с Верой так и не расписались.

Так я узнал, что моя бабушка и дедушка не были расписаны.

Дед. Если есть любовь, штамп не нужен.

Так я узнал, что у дедушки и бабушки была любовь. Кто бы мог подумать.

Внук. Дедушка, я тебя очень прошу. Вспомни телефон, пожалуйста. Или вспомни, куда ты его записал.

Дед. Голова! Ничего не помню.

Внук. Я понимаю, это сложно. Постарайся. Если вспомнишь, я дам тебе четыре димедрола и целую пачку родедорма.

Дед. А!

Это «А!» означало, что дед отказался от вознаграждения. Невероятно.

На следующий день дед разбудил меня в восемь утра. Он был уже одет в свой лучший костюм.

Дед. Я буду в районе рынка, что-нибудь надо купить?

Я еще толком не проснулся.

Внук. Купи помидоров и чеснок.

Деда не было три часа. Он вернулся уставший, но оживленный. Чеснок он забыл купить, но купил помидоры, клубнику и кусок свинины на кости.

Внук. Де, рынок же близко. Почему ты так долго?

Дед. Не получалось.

Внук. Не получалось что?

Дед. Не работает.

Внук. Кто не работает?

Но еще до того, как дед показал характерный жест, страшная правда дошла до меня.

Внук. Ты был у Фиры Борисовны?

Еще в детстве я подслушал разговор взрослых о страшной женщине, живущей в районе рынка. Из того разговора я запомнил, что женщина имела неудачную оперную карьеру и большие планы на Константина Семеновича, то есть на дедушку.

Дед. Совсем глухая. Я говорю ей: «Фира, помнишь меня?» А она: «Ваня!» «Я не Ваня, я Костя!» Совсем глухая.

Внук. Де. Я тебя очень прошу. Не ходи больше к Фире Борисовне...

Дед. Двести двадцать четыре сорок.

Внук. Двести двадцать четыре сорок?

Дед. Дальше пока не получается вспомнить.

В то время киевские телефонные номера еще были семизначными. Значит, оставались неизвестными всего две цифры. Две цифры — это всего лишь сто комбинаций. Сто раз набрать телефонный номер и спросить Олю — это вполне посильная задача для влюбленного дембеля.

Внук. Дед, проси что хочешь.

Дед. Разруби мне косточку. Хочу бульон сварить.

Я наточил топорик, который нашел за кроватью, и разрубил толстую свиную кость. Дед сварил абсолютно недиетический бульон и засыпал в него зелень.

Дед. Не смотри, еще не готово.

Внук. Может, посолить?

Дед. Солить в конце. Сходи лучше за квасом. Завтра обещают за тридцать.

Когда вернулся с бидоном холодного кваса, стол в большой комнате был застелен скатертью. Посередине стояла большая дымящаяся супница.

Дед. Хорошо бы сейчас коньячку.

Я послушно пошел в комнату родителей. Ключ от бара лежал на третьем томе «Народного искусства Венгрии».

Д е д. За последние две цифры!
В н у к. За будущее не пьют.
Д е д. Кто сказал такую глупость?

После обеда я перенес к деду в комнату свой бобинный магнитофон, чтобы он послушал записи Патаржинского. Пленка два раза рвалась, но я склеил ее ацетоном. Потом дед подарил мне готовальню, а я заменил батарейки в его фонарике. Потом мы посмотрели старые газеты с сообщением о полете Гагарина. Потом играли в дурака, потом болели за «Динамо Киев».

Д е д. А ты знаешь, что я Шаляпина видел? Когда до войны ездил во Францию за торсионами. Правда, оказалось, что французские никуда не годятся. Разрушаются при минимальных боковых нагрузках. Мы потом разработали специальный компенсатор...

В н у к. Расскажи про Шаляпина.

Но дед не успел рассказать про Шаляпина. Он вспомнил.

Д е д. Я вспомнил. Двести двадцать четыре сорок восемьдесят семь.

В н у к. Повтори, я запишу.

Я записал.

В н у к. Восемьдесят семь.

Потом я принес деду, как обещал, полпачки родедорма. Димедрола, правда, я дал только одну таблетку. Димедрол плохо сочетается с алко-голем.

К Фире Борисовне дедушка больше не ходил. Он прожил еще долго и сломал шейку бедра только в год смерти принцессы Дианы.

А на Оле я так и не женился. Она говорила «бегим купаться».

Небо

Действующие лица:

А н г е л — Ангел, сворачивающий небо

А н г е л и ц а — Ирэн ангелица

Г е р о й — Гениальный герой вселенной

Н а д е ж д а — Надежда, женщина без малейших талантов

А н г е л. Сворачивайтесь.

Г е р о й. Уже? Так рано?

А н г е л. Спорить не надо со мной.

Г е р о й. Я не спорю.

Н а д е ж д а. А почему ты с ним не споришь?

Г е р о й. Неудобно.

А н г е л. Сворачивайтесь.

Г е р о й. Да, да, да... сворачиваемся.

Н а д е ж д а. Что ты делаешь?..

Г е р о й. Сворачиваюсь.

Н а д е ж д а. Зачем ты сворачиваешься?

Г е р о й. Нас попросили. Ты сама слышала.

Н а д е ж д а. Ну и что, что нас попросили? А если он у тебя займы попросит?

Г е р о й. Если попросит — дам.

Н а д е ж д а. Ты ничтожество.

Г е р о й. Я так не считаю.

Н а д е ж д а. Ты можешь мне ответить — зачем ты сворачиваешься?

Г е р о й. У меня нет желания отвечать, когда ты меня оскорбляешь.

Н а д е ж д а. «Ничтожество» — это я тебе польстила.

Г е р о й. Не буду в таком тоне продолжать.

А н г е л. Сворачивайтесь.

Г е р о й. Да, да, да... Сворачиваемся.

Н а д е ж д а. Прекрати сворачиваться!

Г е р о й. Слушай — я тебя всю жизнь слушал. Хорошего из этого не вышло НИ-ЧЕ-ГО. Сейчас я тебя просто игнорирую.

Н а д е ж д а. Это я тебя игнорирую!

Г е р о й. Ты ебешь мозги — это не называется игнорировать.

Н а д е ж д а. Я тебя все равно игнорирую.

Г е р о й. Игнорируй.

Н а д е ж д а. Прекрати сворачиваться!

Герой. Ты знаешь, кто он?

Надежда. Кто?

Герой. Это ангел, сворачивающий небо.

Надежда. Ну и что?

Герой. Апокалиптическая фигура. Знаменует конец света! Слышала о таком?

Надежда. Не надо из меня дуру делать.

Герой. Так если ты не дура — должна понимать: ангел, сворачивающий небо, говорит мне, простому мудачку — «сворачивайся!» Что я должен, по-твоему, делать?

Надежда. Ты не простой мудачок. Ты гениальный герой вселенной.

Герой. Думаешь, он об этом знает?

Надежда. Скажи ему.

Ангел. Сворачивайтесь.

Герой. Мы сворачиваемся...

Надежда. Мы не сворачиваемся.

Герой. Мы сворачиваемся, но...

Ангел. Никаких «но».

Герой. Слышала? Никаких «но».

Надежда. Скажи ему.

Герой. Простите пожалуйста...

Надежда. Ты мудак! Ты — законченный мудак.

Ангел. Сворачивайтесь, сворачивайтесь...

Герой. Мы сворачиваемся... Я просто хотел вам сказать... Я — гениальный герой вселенной.

Ангел. Очень приятно. Сворачивайтесь.

Герой. А я могу что-нибудь сделать для вселенной, для вас лично?

Ангел. Сворачивайтесь.

Герой. Видишь, я тебе говорил.

Надежда. Если ты сейчас свернешься, я с тобой больше не разговариваю.

Герой. Учитывая, что конец света, ты меня мало напугала.

Надежда. Я тебя ненавижу! Ты мне всю жизнь сломал.

Герой. Начинается...

Надежда. Почему ты позволяешь к себе такое отношение? Попробовал бы он так с Субботиной обращаться!

Герой. При чем тут Субботина?!

Надежда. Ты — мудак! У тебя отсутствует самоуважение! Посмотри на себя! Что это за штаны? На кого ты похож? Причешись хотя бы.

Герой. При чем тут штаны?

Надежда. Никто тебя в таких штанах всерьез не будет воспринимать.

Герой. Хорошо... Я тебе сейчас скажу. Только ты постарайся понять... Будут это штаны такие, будут они другие, будут они из говна или из золотых нитей с платиновым напылением, это все трагически — подчеркиваю — трагически далеко от тех идеальных штанов, которые я надел бы с удовольствием. Ты понимаешь?

Надежда. Чуть несешь.

Герой. Это не чуть. Еду я в газели, стиснутый банабаками, или лечу в рас-хуяс-пиздас первом классе — это все глубоко не то, это катастрофически не то, чего я заслуживаю.

Надежда. Заслуживаешь?

Герой. Заслуживаю! Да, заслуживаю... Я заслуживаю — раз — и там. Раз — и сям! Сказал на солнце — на солнце. Сказал на луне — на луне! Миг! Миг! Тух, тух, тух... Ффух! Вот так, блядь. А вместо этого унижаюсь в каких-то фирменных поездах дурацких. Это я — гениальный герой вселенной!

Надежда. Это точно — так, как ты унижаешься, никто не унижается.

Герой. Потому что, в отличие от всех, осознаю, что унижен законами физики до такой степени, что мне уже на человеческие условности — наплевать. Я космозданием унижен, Эйнштейном унижен. Вдумайся — вот если бы даже мне сейчас дали неограниченные ресурсы, вот все-все-все мне дали в мое полное распоряжение — я быстрее скорости света все равно не смогу полететь! Ну хоть раком встань — нет скорости больше скорости света!

Надежда. Почему?

Герой. Потому что так Эйнштейн сказал. Захотелось ему так, жлобку.

Надежда. Это неправильно.

Герой. Правильно, неправильно.

Ангел. Вы сворачиваться будете?

Герой. Лучше скажите — есть скорость больше скорости света?

Ангел. Есть.

Герой. А Эйнштейн жлобок?

Ангел. Жлобок.

Герой. Ты слышала?

Надежда. Все равно, я тебя очень прошу — когда в следующий раз к нам в гости Ляшенки придут, не надо так метаться, будто короли пришли.

Герой. В том-то и дело, что они — *не* короли. Если бы короли пришли — думаешь, я бы стал так метаться?

Надежда. Думаю, стал бы.

Герой. Нет. Клянусь.

Надежда. Стал бы.

Герой. Если ты так думаешь, значит, ты меня совсем не знаешь.

Ангел. Сворачивайтесь, пожалуйста.

Герой. А в чем необходимость именно сейчас сворачиваться?

Ангел. Сейчас, потом. Какая разница?

Герой. Огромная разница. Сейчас моя жизнь. А потом не моя будет.

Ангел. Веришь, нет — мне до пизды.

Герой. А мне нет. Я еще не все пожил, что мог.

Входит ангелица.

Ангелица. Что здесь происходит? Почему не сворачиваются?

Ангел. Сейчас свернутся.

Герой. А почему вы так уверены?

Ангел. А ты что, не свернешься?

Герой. Я свернусь... скорее всего... Но не надо так уверенно об этом говорить.

Ангелица. Сворачивайся быстрее.

Герой. Не надо тыкать.

Ангел. Хамить женщине тоже не надо.

Герой. Я не хамлю... Это ваша... любимая, я так понимаю?

Ангелица. Жена.

Герой. Очень приятно. А это как раз моя жена Надя — женщина без малейших талантов.

Надежда. Очень приятно. Надя, женщина без малейших талантов.

Ангелица. Очень приятно. Ирэн ангелица.

Надежда. А правда, что ваш муж — ангел, сворачивающий небо?

Ангелица. В принципе, да.

Надежда. Надо же.

Герой. Могу я вас на секретный мужской разговор попросить?

Ангел. Честно говоря, не вижу смысла. Вам давно пора сворачиваться.

Герой. И все-таки...

Ангел. Да ради бога.

Отходят, чтобы поговорить без женщин.

Герой. Можете ничего не говорить... Все понимаю... Одно не понимаю — почему такая спешка?

Ангел. Хочется побыстрее как-нибудь все закончить. Просто — чтобы закончилось.

Герой. Понимаю. Мы вас утомили.

Ангел. Не то чтобы утомили... Но, в принципе, да, утомили — то слово.

Герой. Понимаю прекрасно. Я сам себя уже так утомил.

Ангел. Вы меня понимаете?

Герой. Понимаю. Но и меня поймите...

Ангел. Прошу вас, не надо никаких аргументов. Это бесполезно.

Герой. Какие тут могут быть аргументы?

Ангел. Никаких не может быть. Вы обосрались сотни раз...

Герой. Тысячи, тысячи...

Ангел. Хорошая же была идея — голубые каски ООН. Во что это на практике вылилось?

Герой. Не говорите. А коррупция?

Ангел. А коррупция? И где? В недрах тех самых организаций, которые должны, по идее, с ней бороться! А экология?

Герой. А как вам скандал с сыном президента?

Ангел. Скажу честно — я был шокирован! После всех правильных слов... Такое... Я в шоке!

Герой. Возникает ощущение, что сами себе вредим.

Ангел. Абсолютно.

Герой. Ведем себя, как будто вечно жить собираемся... Хапаем, хапаем...

Ангел. Страх божий отсутствует. Абсолютно!

Герой. Тут не соглашусь, но, конечно, вы имеете основания так думать...

Ангел. Где вы видели настоящий страх?

Герой. Могу только по себе судить...

Ангел. Ну, например?

Герой. Например. Стараюсь писать часто.

Ангел. Это с почками проблемы.

Герой. Ошибочка — почки работают идеально. Но даже дома осознанно предпочитаю опорожнять пузырь не реже — раз в пятнадцать-двадцать, максимум — двадцать пять минут... Спросите — с какой целью? Чтобы не быть застигнутым врасплох.

Ан г е л. Чем?

Ге р о й. Чем угодно. Концом света, бытовым насилием, самолет может рухнуть на жилые районы... С полным пузырем быстро не среагируешь.

Ан г е л. Все равно. Какую-то опасность осознали — боитесь. Но это недолго, не системно, так сказать...

Ге р о й. Еще пример — замечали, наверное, что в метро езжу с открытым ртом?

Ан г е л. Не обращал внимания.

Ге р о й. Приглядитесь. Что это дает? Если взрывная волна, например, а рот закрыт — большая нагрузка на перепонки барабанные, вплоть до самых серьезных последствий может быть... Можно слуха лишиться.

Ан г е л. А если рот открыт?

Ге р о й. Давление выравнивается. Боль все равно почувствуете — но перепонки не порвутся. Уши надо очень беречь.

Ан г е л. Полностью с вами согласен.

Ге р о й. Еще пример...

Ан г е л. Достаточно...

Ге р о й. Из свежих...

Ан г е л. Ну, если из свежих...

Ге р о й. Свежий пример — не далее как вчера сiju на складе, выпи-сываю цемент. Мешки — не маркированные. Мешок трехсотого, мешок пятисотого — не отличишь. Приезжает на фордике пенсионер. Нужен ему пятисотый, собирается строить что-то. Что — я даже не спрашивал. Но зачем-то нужен ему лучший цемент, ну вот вбил он себе в голову... А надо сказать, разница в цене существенная. Вы думаете, я ему продал трехсотый под видом пятисотого? Ничего подобного.

Ан г е л. Нет?

Ге р о й. Нет! Как последний идиот, выпи-сываю ему прочнейший пя-тисотый и выдаю его же, а надо сказать, он в обычном строительстве практически не используется — идет только на дамбы, плотины, по-добные сооружения... В чем, спросите, логика?

Ан г е л. В чем логика?

Ге р о й. Представьте, что будет, если в результате ядерного кон-фликта сооружение из моего трехсотого бетона, проданного под видом пятисотого, обрушится. Не исключены жертвы. Станут вы-яснять — почему обрушилось? По накладной — пятисотый. А по факту? Оп-па! Кто продал? А в накладной — вся информация.

Ан г е л. Там же и печать ваша.

Герой. И печать, и адреса — все вплоть до телефона.

Ангел. Накладная, это конечно...

Герой. Более того, я допускаю даже другую смешную ситуацию — ударная нагрузка в момент взрыва такая на строение пойдет, что хоть оно из трехсотого, хоть из пятисотого — никакой разницы не будет, все равно завалится. Все-таки это ядерный взрыв — это мощь страшная...

Ангел. Абсолютно!

Герой. Но в результате по-любому буду виноват я — разбираться никто не станет. Как это у нас часто бывает.

Ангел. Везде и всюду.

Герой. Поэтому не стал рисковать — выдал старичку самый лучший цемент, пятисотый. Все как положено. Помог даже погрузить на фордик, тот уехал — как будто так и надо... А я — не поверите, валидол сосал, когда представил возможные последствия. Не надо мне этих денег... Береженого бог бережет.

Ангел. Всех денег не заработаешь.

А в это время у женщин свой разговор.

Ангелица. Я понимаю — звучит очень громко. Ангел, сворачивающий небо. Звучит?

Надежда. Звучит.

Ангелица. Но не со звуком же жить, а с живым ангелом.

Надежда. Понимаю.

Ангелица. А что он свернул?

Надежда. В смысле?

Ангелица. Вот он по названию — ангел, сворачивающий небо. А что он свернул?

Надежда. Небо.

Ангелица. Где вы видите, чтобы он его свернул? Вы видите, чтобы он его свернул?

Надежда. Пока нет.

Ангелица. И я пока не вижу.

Надежда. Но он же свернет.

Ангелица. Но когда это будет? Обещал — сегодня. Клятвенно. Со слезами на глазах. В ногах ползал. Чем это закончилось — вы сами видите.

Надежда. Вы не обижайтесь. Это я своего накрутила, чтобы он вашего уговорил — чтобы не сегодня... Не обижайтесь, правда. Пожить очень хочется.

Ангелица. Я не обижаюсь. Но вы меня тоже поймите. Это же повторяющаяся ситуация. Использует любой повод, чтобы увильнуть от своего основного предназначения.

Надежда. Мой — то же самое.

Ангелица. Просто иногда думаю. Закрыть его, часов на десять, — чтобы еще под дверью кто-нибудь сидел, не выпускал. Закрыть и ультиматум — ебись как хочешь, на ушах стой, но чтобы через десять часов небо было свернуто.

Надежда. Тогда свернет.

Ангелица. Тогда свернет — что самое обидное. А если к нему с доверием — ни в какую. При этом амбиции — нечеловеческие. Он же уже сейчас к себе относится соответственно имени. У него же внутреннее пространство как у уже свернувшего... А по факту — только ля-ля тополя...

Надежда. Мой по названию вообще — смешно сказать...

Ангелица. Ну-ну...

Надежда. Гениальный герой вселенной.

Ангелица. Тогда вы должны меня понимать.

Надежда. Я вас прекрасно понимаю.

Ангелица. Конечно же, ничего гениального, ничего героического... Балабол, как и все.

Надежда. Почему балабол? Мой не балабол. Пиздит много — но не балабол.

Ангелица. Все балаболы.

Надежда. А я говорю — мой не балабол.

Ангелица. А я говорю — все балаболы.

Надежда. Заткнись, дура!

Ангелица. Сама заткнись.

А у мужчин...

Герой. Умоляю — не сегодня!

Ангел. Ну что вам дадут эти день-два?

Герой. Очень пожить хочется.

Ангел. Пожили вы уже...

Герой. Я пожил — признаю.

Ангел. Я не верю, что вы за других переживаете...

Герой. На других — чихал... Сам еще хочу. Жена вот только... Жену бы тоже — оставить. Ну, родителей, само собой, родственников, дружанов... Актрис некоторых... Ну и по мелочи там: славян, землян, инопланетян... Знаете что... А пусть пока все как есть будет. Пожалуйста!

Ангел. А вы понимаете, что если не сегодня — то завтра?

Герой. Это уже лучше, чем сегодня.

Ангел. А через шесть лет вообще солнце взорвется. Оно тебе надо?

Герой. Через шесть лет — рано, мы по вселенной не успеем расселиться. Разбросать, так сказать, споры разумной жизни... Очень мало шесть лет. Не успеваем. Никак. Не годится.

Ангел. А через шестнадцать гарантированно крадец — земля столкнется с астероидом.

Герой. Выкрутимся как-нибудь.

Ангел. Давай все-таки сегодня свернемся.

Герой. Пожалуйста, не надо...

Ангел. Пожалуйста, давай...

Герой (*скулит*). Не хочу-у-у...

Ангел. Все равно ничего нового впереди нет. Все было.

Герой. Нет, не все... Я ЛСД не пробовал, водить толком не научился, жену даже до симитированного оргазма не довел... Мне есть зачем жить.

Мужчин прервали.

Ангелица. Сворачивайтесь!

Надежда. Сворачивайтесь!

Ангелица. Сворачивайтесь!

Надежда. Сворачивайся, я сказала. Домой пошли.

Герой. Мы и так дома.

Надежда. Тогда пусть они сворачиваются и уходят.

Ангел. Я сейчас кому-то так свернусь...

Герой. Братан, не обращай на бабу внимания. Глупая — не понимает, на кого пасть открыла. Мы же с тобой договорились.

Ангелица. О чем вы договорились?

Ангел. Не твое дело, блин, дело, блин...

Ангелица. Ой, как заговорил.

Ангел. Да, вот так...

Ангелица. Как же ты заговорил...

Ангел. Давно пора было так заговорить... Ни в грош меня не ставишь.

Ангелица. Ну, пошли.

Ангел. Сейчас пойдём... (*Обращается к остающимся весело, чтобы скрыть робость перед надвигающейся семейной разборкой.*) Вы... это. Приготовьтесь. Завтра будем сворачиваться.

Ангел и ангелица исчезают домой ругаться.

Герой (*показывая неприличный жест вслед исчезающим*). Завтра будет завтра!

Надежда. Котлеты подогреть?

Герой. Слушай, Надежда, а у тебя действительно никаких талантов нет?

Надежда. Никаких.

Герой. Ни одного?

Надежда. Ни малейшего.

Герой. Обидно?

Надежда. Не знаю. Я привыкла.



Сергей Алхутов, прозаик. Публиковался в журналах «Знамя», «Полдень, XXI век», «Кольцо А», «Контрабанда» и др. Автор книг «Царь и Пес» (2006), «Возвращение Заратустры» (2008; книга вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер», 2009). В настоящее время работает над уникальным издательским проектом — частным подписным изданием. Член СП Москвы.

Анастасия Ануфриева, поэт. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Сибирские Афины», «Ликбез», интернет-журнале «Пролог», альманахах «Новые имена», «Qui Quae Quod», «Перовестник», ряде коллективных поэтических сборников. Автор книг «Май № 12» (2004), «На небе и возле» (2004, совм. с А. Рубаном). Лауреат I Поэтического конкурса фонда «Новые имена», премии фонда им. Астафьева, номинант премии «ЛитератураРентген» и «Илья-премии». Именной стипендиат Федерального агентства по культуре и кинематографии. Член СП Москвы.

Анна Аркатова, поэт, переводчик. Родилась в Риге. Окончила филологический факультет Латвийского Государственного университета, Литературный институт им. А. М. Горького. Преподавала словесность в школе, работала редактором, автором на литературных проектах в СМИ. Автор трех поэтических книг: «Без билета» (1997), «Внешние данные» (2004), «Знаки препинания» (2007). Публиковалась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Новая юность», «Интерпоэзия» и др. Член СП Москвы.

Ирина Богатырева, прозаик. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького (семинар Александра Рекемчука). Публиковалась в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов», «Кольцо А», «День и Ночь» и др. Автор романа «АвтоSTOP» (2008). Дипломант премии «Эврика!», финалист премии «Дебют». Лауреат премии журнала «Октябрь». Рассказы переводились на английский и китайский языки. Член СП Москвы.

Александр Герасимов, поэт, переводчик. Пресс-секретарь Союза писателей Москвы. Автор книги стихов «Стиходрамы» (2001). Осуществлял поэтические переводы с болгарского, сербского, словацкого, польского, венгерского, грузинского, якутского и других языков. Лауреат премии имени Риммы Казаковой (2010).

Елена Дорогавцева, поэт, критик. Окончила Институт государства и права РАН. Публиковалась в журналах «Арион», «Октябрь», «Литературная учеба» и др. Лауреат премии IV Форума молодых писателей в Липках (2004), Волошинского фестиваля (2006). Член СП Москвы.

Андрей Егоров, поэт. Учился на физико-математическом факультете Камчатского государственного педагогического университета. Стихи публиковались в журнале «Арион». Финалист «Илья-премии» (2006). В 2008 году удостоен премии «Дебют» в поэтической номинации.

Леша Ефимов (Ефимов Алексей Игоревич), поэт. Публиковался в журналах «Дружба Народов», «Кольцо А» и др. Многолетний участник литературного рок-кабаре Алексея Дидурова. В 2000 году стал победителем Всероссийского поэтического конкурса «Неизвестные поэты России», организованного в рамках 67-го Всемирного конгресса Международного ПЕН-клуба, проходившего под эгидой ЮНЕСКО. Основатель проекта «Слова на ветер», в рамках которого создается фонотека записей современных поэтов, читающих свои стихи. Автор книг «Unplugged» (2001), «Вид сверху» (2008). Член СП Москвы.

Татьяна Замировская, прозаик, музыкальный критик. Публиковалась в журналах «НАШ» (культовый арт-журнал, издававшийся в Днепропетровске с 1999 по 2006 год), «Крокодил» (того периода, когда его редактировал Мостовщиков), в альманахе фонда Астафьева «Первовестник-2009» (Красноярск); сборнике «Вдохнуть. И не ды! шать!» (2008). С 2005 года регулярно публикуется в сборниках рассказов серии «ФРАМ» издательства «Амфора» (составитель Макс Фрай). В марте 2010 года в издательстве «АСТ-Астрель» вышла дебютная книга «Жизнь без шума и боли» (сборник рассказов). Номинант премии Астафьева. Член СП Москвы. Живет в Минске.

Михаил Земсков, прозаик, сценарист. Автор книг «Алма-Ата» (2003) и «Перигей» (2008); публиковался в журналах «Октябрь» и «Дружба Народов» (Россия), «Аманат» и «Аполлинарий» (Казахстан). Лауреат «Русской премии — 2005» за сборник повестей и рассказов «Алма-Атинские истории». Лауреат конкурса монопьес «Человек» (2007). Автор сценария короткометражного художественного фильма «Трубка» (режиссер Эни Деверо, совместное производство США—Казахстан, 2008, участник конкурсных программ короткометражных фильмов в Аспене, Афинах, Палм Спрингз и программы «Угол короткого метра» в Каннах). Член СП Москвы. Живет в Алма-Ате.

Елена Исаева, поэт, драматург. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Современная драматургия» и др. Неоднократная участница фестивалей «Любимовка», «Новая драма», «Документальная драма», семинаров в Переделкино, позже — руководитель семинара драмы и кинодрамы. Автор двух книг пьес и шести книг стихотворений. Стихи и пьесы переведены на многие языки. Лауреат малой

премии «Триумф» (2002), премии «Действующие лица» (2003), премий радио России, «Приз Европы» (Берлинского радиофестиваля). Спектакль по пьесе «Дос.тор» получил гран-при «Новой драмы — 2006». Спектакли идут в России и за рубежом. Член СП Москвы.

Евгений Казачков, сценарист, драматург. Публиковался в журналах «Искусство кино», «Станиславский». Пьесы принимали участие в фестивалях «Новая драма» (Москва), «Любимовка» (Москва), «Текстура» (Пермь), «Радуга» (Санкт-Петербург), Baltic Circle (Хельсинки), Miasto (Легница). Участник режиссерско-драматургической лаборатории «Ясная Поляна». Член СП Москвы.

Алексей Кашеев, поэт. Публиковался в альманахе «Новые писатели», журналах «Континент», «День и Ночь», «Пролог», «Луч», «Студенческий меридиан»; «Новой газете»; альманахах «Так начинают жить стихом», «Новые имена», «Очарованные словом»; сборниках «Илья-премия — 2004», «Братская колыбель». Именной стипендиат Федерального агентства по культуре и кинематографии. Номинант премии «Дебют» (2009). Член СП Москвы.

Марта Кетро, прозаик. Автор книг «Хоп-хоп, улитка» (2006); «Улыбайся всегда, любовь моя» (2007); «Женщины и коты, мужчины и кошки» (2007); «Московские филалки» (2008); «Горький шоколад. Книга утешений» (2008); «О любви» (2009); «Справочник по уходу и возвращению» (2009); «Госпожа яблок» (2009). Публиковалась в сборниках «78» (2006); «0 января» (2008); «Истории любви» (2009). Составитель сборников: «Вдохнуть. И не! ды! шать!» (2008); «Скажи!» (2008); «Мартовские коты» (2008); «Зато ты очень красивый» (2009); «Лисья честность» (2010). Член СП Москвы.

Всеволод Константинов, поэт. Родился в Перми. Окончил географический факультет МГУ. Режиссер и сценарист документальных фильмов. Публиковался в журналах «Знамя», «Юность», «Октябрь», «День и ночь», «Новый берег», «Алконость». Автор книги «Седьмой путь» (2004).

Инга Кузнецова, поэт. Окончила факультет журналистики МГУ, в аспирантуре изучала философию. Работала в литературных журналах, вела литературные обозрения на радио России. Лауреат студенческого поэтического конкурса имени А. С. Пушкина (1994), молодежной премии «Триумф» (2003) и профессиональной премии поэтов «Московский счет» в номинации «Лучший дебют» (2003) за первый сборник стихотворений. Автор двух поэтических книг: «Сны-синицы» (2002) и «Внутреннее зрение» (2010), ряда литературно-критических эссе и рецензий. Стихи печатались во многих литературных журналах и антологиях, переведены на английский, французский, польский, китайский, грузинский языки. Член СП Москвы.

Максим Курочкин, драматург. Родился в Киеве. Окончил заочно истфак Киевского университета, работал археологом. В 1999 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Участник оргкомитета фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Ведущий автор Новой драмы. Член СП Москвы.

Елена Лапшина, поэт. Стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Арион» и др. Автор книг «Вымани Ангела» (совместно с О. Ивановой, 2005), «В невесомой воде» (2006), «Всякое дыхание» (2010). Лауреат Волошинского конкурса, премии журнала «Кольцо А». Победитель интернет-конкурсов «Согласование времен», «Псалмопевец» и др. Член СП Москвы.

Константин Ларченко, прозаик. Выпускник Фабрики кино (мастерская Ш. Абдусаломова, М. Рязанцевой). Лауреат конкурса юмористической поэзии и прозы «Жизнь прекрасна!» (2009). Публиковался в журнале «Кольцо А». Член СП Москвы.

Виктория Лебедева, поэт, прозаик. Окончила МИРЭА (1996), Литературный институт им. А. М. Горького (2002, семинар Владимира Цыбина). Публиковалась в журналах «Юность», «Кольцо А», «День и ночь», «Октябрь», «Дружба народов», «Семья и школа», альманахе фонда Астафьева «Первовестьник-2009» (Красноярск), издательстве АСТ. Лауреат премии «Венец» (2003), премии журнала «Кольцо А» (2001). Номинант детской международной премии им. Крапивина (2010). Член СП Москвы.

Вадим Леванов, драматург. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького (семинар Виктора Розова и Инны Вишневской). Публиковался в журналах «Современная драматургия», «Сюжеты», «Missives» и «UBU» (Франция), альманахе «Майские чтения», коллективных сборниках «Одинокий русский писатель», «Театр.DOC», «Ночь с театром» и авторских сборниках «Пьесы» и «Courttes pieces» и др. Пьесы ставились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Липецке, Ханты-Мансийске, Элисте, Нанси и Ди (Франция), Клайпеде (Литва), Гиссене (Германия) и др. Лауреат премии «Хрустальная роза Виктора Розова» (2004), премии драматургического конкурса «Евразия-2007» (Екатеринбург). Пьесы переведены на английский, французский, немецкий, литовский, польский языки. Член СП Москвы.

Евгений Лесин, поэт, критик, журналист. Учился в Московском институте стали и сплавов. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1995). С 1995 года работал в газете «Книжное обозрение», с 2002 года — в «Независимой газете». Ответственный редактор литературного приложения к «Независимой газете» «НГ Ex Libris». Лауреат премии «Нонконформизм — 2010». Член СП Москвы.

Александр Молчанов, сценарист, драматург. Окончил Вологодский государственный педагогический университет; ВГИК (мастерская А. Э. Бородеянского). Руководитель лаборатории «Кино без пленки». Автор учебника «Букварь сценариста». Лауреат премий «Текстура», «Конкурс конкурсов «Золотой маски», «Евразия-2007», «Евразия-2008», «Премьера-2007», «Мы дети твои, Россия». Пьесы ставились в Москве, Владикавказе, Хакасии, готовятся постановки в Глазове и Красноярске. Член Союза кинематографистов России. Член СП Москвы.

Ольга Нечаева, поэт. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького. Один из организаторов творческого объединения «Алконошь», редактор одноименного альманаха. Печаталась в журналах «Октябрь», «Литературная учеба», коллективных сборниках. Автор книги стихов «Птичье молоко» (2004). Член СП Москвы.

Петр Ореховский, прозаик. Родился и вырос на Алтае, учился и работал в Новосибирске, Усть-Илимске, Омске, Санкт-Петербурге, Барнауле, Обнинске. Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшей школы. Член СЖ РФ, был главным редактором журнала «Муниципальная экономика» (1999–2003), сотрудничал с «Известиями», порталом «Полит.ру». Рассказы и повести публиковались в журналах «Октябрь», «День и Ночь», «Континент», «Вестник Европы», переводились на сербохорватский и болгарский языки. Член СП Москвы. Живет в Обнинске Калужской области.

Александр Переверзин, поэт. Родился в городе Рошаль Московской области. Окончил МИХМ (1997) и сценарный факультет ВГИКа (2006), учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Участник творческого объединения «Алконошь». Стихи публиковались в журналах «Арион», «Новый мир», «Октябрь», «Новый берег» (Копенгаген) и др. Лауреат профессиональной поэтической премии «Московский счет» за лучшую дебютную книгу 2009 года, международной Волошинской премии (2010). Главный редактор издательства «Воймега». Член СП Москвы. Живет в Люберцах.

Наталья Полякова, поэт. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького (семинар Романа Сефа и Александра Торопцева). Стихи публиковались в журналах «Кольцо А», «Пролог», «Дружба народов», «Дети Ра», «Интерпоэзия», сборнике «Новые писатели». Лауреат премии им. Риммы Казаковой (2009). Член СП Москвы.

Александр Снегирев, прозаик. Публиковался в журналах «День и ночь», «Знамя», «Октябрь», сборниках «Новые писатели России», «Вдохнуть. И не! ды! шать!» (2008). Автор романов «Как мы бомбили Америку» (2007), «Нефтяная Венера» (2008), «Тщеславие» (2010), сборника «Моя малышка» (2009). Номинант премий «Русский Букер», «Большая книга». Финалист премии «Национальный бестселлер». Лауреат спецпремии ozon.ru за продажи, победитель первого российского буккросс-синг-марафона. Лауреат премий «Дебют», «Венец», «Эврика». Член СП Москвы.

Ксения Степанывева, драматург, сценарист. Лауреат премии всероссийского конкурса драматургов «Действующие лица — 2004» (1-я премия). Финалист конкурса «Действующие лица — 2007». Лауреат всероссийского конкурса пьес для детей «Мы дети твои, Россия» (2007), всероссийского конкурса «Факел памяти» (2010). Публиковалась в журналах «Современная драматургия», «Мир детского театра», сборниках «Лучшие пьесы 2004» и «Лучшие пьесы 2007», издаваемых по итогам конкурса «Действующие лица». Автор сценария фильма «...В стиле jazz» (реж. Станислав Говорухин, 2010). Пьесы идут в театрах России.

Элина Сухова, поэт, прозаик, историк, журналист. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького (семинар Валентина Сорокина). Публиковалась в журналах «Пролог», «День и ночь», «Студенческий меридиан», «Литературная учеба»; сборниках «Поэзия Московского университета от Ломоносова и до...», «Шестое измерение». Автор книг «Вниз по реке, вверх по реке» (2000), «Вишневый остров» (2009). Член Союза журналистов, кандидат исторических наук. Член СП Москвы.

Евгения Тидеман, поэт. Училась в Российском государственном геологоразведочном университете им. С. Орджоникидзе. Стихи публиковались в альманахе «На солнечной стороне», журналах «Родомысл» и «Молодая гвардия», в сборнике «В комнате за сценой» и других изданиях. Член МО СПР.

Улья Нова, поэт, прозаик. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького (семинар Александра Рекемчука). Публиковалась в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Дети Ра», «Крокодил»; сборниках «Скажи!» (2008); «Мартовские коты» (2008), «Зато ты очень красивый» (2009); «Живые и прочие. 41 лучший рассказ 2009 года» (2010), «Тут и там» (2010). Автор романов «Инка» (2009) и «Лазалки» (2010). Лауреат премии «Эврика». Член СП Москвы.

Мария Фаликман, поэт, переводчик. Окончила факультет психологии МГУ. Стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Арион», «Иерусалимский журнал», «Литературная учеба», в ряде сборников и антологий, включая антологию «Русская поэзия. XXI век» (2010). Лауреат конкурсов Британского совета в РФ по переводу британской поэзии (2005, 2010), финалист премии за лучший перевод современной британской литературы «Единорог и Лев» (2007, 2009). Переводы публиковались в журнале «Иностранная литература», антологии современной американской поэзии, сборнике «В двух измерениях. Современная британская поэзия в русских переводах» (2009). Кандидат психологических наук. Член СП Москвы.

Вячеслав Харченко, поэт, прозаик. Участник поэтической студии «Луч» при МГУ и литературного объединения «Рука Москвы». Публиковался в журналах «Новая Юность», «Арион», «Сетевая поэзия», «Знамя», «Октябрь», «Новый берег», «Родомысл», «Пролог» и др. Лауреат Волошинского фестиваля в номинации проза (2007). Член СП Москвы.

Ирина Чечина, драматург, врач. Окончила Кубанский государственный медицинский университет и факультет журналистики Кубанского государственного университета. Автор пьес, стихов и прозы. Финалист драматургических и литературных конкурсов «Премьера-2006», «Лаборатория современной драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока-2008», конкурса «Открытие» (журнал «Российский Колокол»). Пьесы ставились в Кургане, Львове, Торжке.

Лета Югай, поэт. Родилась и живет в Вологде. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (2008, семинар Андрея Василевского) и филфак Вологодского педуниверситета. Аспирантка МПГУ. Стипендиат Российского фонда культуры. Автор проекта «Пачка стихов». Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Дети Ра», газетах «Литературная Россия», «Новый Петербург», «Трибуна», «Литературная газета» и др. Лауреат Байкальского фестиваля поэзии (Иркутск, 2010).

Содержание

Проза

Евгений Попов. <i>Новая литература</i>	5
Анатолий Курчаткин. <i>Дорога, которую предстоит одолеть</i>	7
Ирина Богатырева	
Подводные лодки.....	8
Константин Ларченко	
Хоттабкины сказки.....	17
Сергей Алхутов	
Мотив к созданию рукописи	30
Марта Кетро	
И поезд, и ветер... ..	43
Михаил Земсков	
Быстро и почти просто	48
Татьяна Замировская	
Бывшая. Жертва	62
Янтарные масла	65
Петр Ореховский	
Роза ветров	69
Улья Нова	
Фиолетовая листва	77
Посвящение	83
Александр Снегирев	
Я намерен хорошо провести этот вечер.....	88
Виктория Лебедева	
Ешь	103
Вячеслав Харченко	
Принес пользу	109

Поэзия

Кирилл Ковальджи. <i>Десять молодых лет</i>	119
Ольга Нечаева	122
Всеволод Константинов	127
Мария Фаликман	131

Анастасия Ануфриева	137
Андрей Егоров	140
Инга Кузнецова	146
Александр Переверзин	152
Элина Сухова	160
Елена Лапшина	167
Елена Дорогавцева	172
Евгений Лесин	175
Алексей Кащеев	179
Евгения Тидеман	185
Анна Аркатова	190
Лета Югай	196
Александр Герасимов	199
Елена Исаева	204
Наталья Полякова	210
Леша Ефимов	216

Драма

Елена Исаева. Кухня	227
Вадим Леванов	
Лабиринт	229
Евгений Казачков	
Песнь пятая	233
Ксения Степаньчева	
Попутчик	241
Ирина Чечина	
Горячая точка	246
Александр Молчанов	
Жертва	250
Максим Курочкин	
Выключатель	263
Небо	269
 <i>Об авторах</i>	 279

Союз писателей Москвы

Литеры

стихи, проза, драматургия

редакторы:

Э. Сухова

В. Лебедева

рисунки:

О. Золотухина

Подготовлено к печати
издательством «Воймега»
гл. редактор А. Переверзин
e-mail: voymega@yandex.ru

Формат 60х90¹/₁₆. Усл.-печ. л. 18.
Тираж 200 экз.